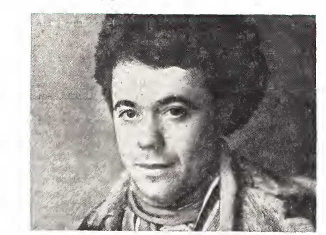




Игорь КУВШИНОВ родился в 1950 году в Москве. Работал механиком по звуковой аппаратуре, затем ассистентом режиссера на «Мосфильме». Ныне выпускник Литературного института имени А. М. Горького.

Впервые опубликовал два маленьких рассказа на страницах нашего журнала («Юность» № 1, 1973 год).

Это его первая повесть.

Игорь КУВШИНОВ

С НАМИ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Натальи БИСТИ.

1

Василий Афанасьевич Коваль часто получал из милиции письма. Деловые, конечно. Он работал замполитом в строительном ПТУ — заместителем директора по культвоспитательной работе — и с милицией был накоротке.

От этого письма настроение испортилось сразу. Дело в том, что готовилась в городе конференция «О работе, досуге и образовании молодежи», Василий Афанасьевич должен на ней выступать. Он уж и доклад подготовил. И тут на́ тебе...

«Уведомляю Вас»,— писал Коровин (подпись под письмом стояла другая, заместителя начальника отделения Федорова, но Василий Афанасьевич знал: сочинял Коровин. И интонация его и слова. Все остальные писали «довожу до Вашего сведения», а Коровин «уведомлял»). «Уведомляю Вас, что вчера в городском парке «Дружба» были задержаны и после учинения драки доставлены в отделение милиции следующие учащиеся вверенного Вам...» (Ну, точно, Коровин: вверить-то мне вверили, а я не оправдал), «...вверенного Вам ПТУ: Волков Сергей, Горюнов Юрий, Волнин Дмитрий»,— а вот этот, голубчик, не мне вверен, а скорее тебе, и пора бы это знать,— «а учащийся Николаев Иван с места происшествия был доставлен в больницу, где и находится в тяжелом состоянии».

Василий Афанасьевич встал, прошелся по комнате. Он глянул в зеркало и приосанился, на минуту представив себя на конференции. В президиуме сидят товарищи из горкома; из исполкома, наверное, будет Бурцева; из гороно кто-нибудь; из горкома

комсомола, наверное, Одинцов, первый секретарь: молодежной проблеме придавали в городе большое значение. А на трибуне он, Василий Афанасьевич.

Волнин и Николаев не учились у Коваля. Это были известные ему парни, жили они в Шанхае (так окрестили местные жители одну из окраин города, где в вагончиках и деревянных хибарках жили строители), и, значит, на конференции можно будет легко доказать, что Коровин вешает чужие грехи на училище.

Хорошее настроение на минуту было вернулось, но тут же Василий Афанасьевич подумал: «Николаев ведь в больницу попал не оттого, что поскользнулся на ровном месте. Небось, Волков, Сереженька мой, постарался».

Сергей Волков доставил Василию Афанасьевичу столько забот, сколько редко еще кто доставлял, и возился с ним замполит так, как ни с кем не возился.

Еще в самом начале учебного года Василий Афанасьевич наказал мастеру Сережиной группы, который вел слесарное дело:

— Ты,— сказал Коваль,— за Волковым особо присматривай, неспокойный какой-то он.

Мастер этот, Лев Андреевич Прохоров,— молодой совсем парень, недавно окончивший индустриально-педагогический техникум,— был невредным, веселым, прекрасно знающим профессию, а главное — почти сверстником своих учеников. Наверное, поэтому ребята к нему тянулись и называли ласкательно Львенком.

— Ладно,— ответил Лев Андреевич,— договоримся с ним как-нибудь.

Но договариваться ему с Сергеем пришлось довольно долго.

Сергей мог, например, демонстративно ничего не делать на практических занятиях: мол, в училище пришел учиться, а не работать.

Но Лев Андреевич Сергея перехитрил. Он его не упрашивал и не стыдил даже, а только дразнил постоянно:

— Ты ничего не делаешь не потому, что лень, а потому, что просто не умеешь. У тебя руки как крюки. Да и силенки не хватит такую деталь изготовить.

— У меня?! — возмущался Сергей и с таким ожесточением набрасывался на заготовку, что из-под напильника искры летели.

— Вообще-то ты молодец, но вот чтоб эту штуку сработать,— говорил на другой день мастер,— знаешь, сколько соображения надо, ты лучше возьми что-нибудь другое, попроще.

Но Сергей упорно пытался доказать, что соображения у него ничуть не меньше, чем силы. Постепенно он приобрел вкус к работе и стал одним из лучших учеников в группе у Льва Андреевича.

Коваль даже в докладе для конференции написал про него. Василий Афанасьевич открыл левый ящик стола, достал листы, отпечатанные на машинке, перевернул две страницы и прочел:

«Трудных подростков в училище 119 человек, вот один из них: Волков Сергей. В семье непорядок, Сережа с очень нарушенной психикой, в одной из бесед на тему побегов, которые он совершил из родительского дома, Сережа даже грозился меня как замполита убить, задавить машиной и т. д. за то, что я лезу в его личную жизнь. Через год учебы в училище Сергей был уже успевающим, старостой группы. Вот его высказывание дословно, почему он стал активистом:

«Дома я ничего хорошего, кроме хамства, не видел, в школе получал 3, 4, вечно считался отстающим учеником, всегда ругали меня и моих родителей, в меня не верили, мне ничего не поручали. С поступлением в училище я попал в новый мир. Ко мне проявили внимание, я стал получать положительные оценки, мне доверили, избрали старостой группы, и я поставил перед собой задачу доказать, что я не такой, каким меня считали эти годы».

А мать Сережи заявила следующее: «Закажу два портрета — тех людей, которые помогли сыну моему образумиться,— и буду на них молиться всю жизнь».

Вообще-то она говорила про один портрет— Василия Афанасьевича,— но Коваль решил, что его могут посчитать нескромным, напиши он лишь о себе, совсем же промолчать о своих заслугах считал несправедливым. Василий Афанасьевич не вполне был чужд честолюбия.

И «дословные высказывания» Сергея тоже были не совсем его высказываниями. «От них дождешься,— думал Коваль.— Чтоб так сказать, сколько в голове иметь надо». Это были мысли Василия Афанасьевича, честные и справедливые, но для убедительности изложенные от лица ученика.

«Да, теперь Коровин на каждом углу будет кричать, что подростки училища — угроза городу». Василий Афанасьевич вздохнул и встал, чтоб ехать в милицию.

Конфликт с Коровиным был давнишний. Они сразу не понравились друг другу.

То было время, когда Новый город лишь начинал строиться, и Коваль, уволившись со своей старой службы (он работал до этого госавтоинспектором), только переехал сюда со своею семьей к больной и уже старой матери.

Идти снова в ГАИ не хотелось — маловато платили, и Василий Афанасьевич устроился в новое строительное ПТУ. Взяли его с радостью: мужчина, человек с жизненным опытом, к тому же бывший милиционер.

Как бывший милиционер, он и решил первым делом наладить отношения с милицией. Василий Афанасьевич рассчитывал, что встретят его, как товарища.

Встретил Коваля молодой, лет на пятнадцать моложе Василия Афанасьевича, полный и, как потом говорил Коваль, ужасно спесивый лейтенант с университетским ромбом на кителе — лейтенант Коровин. Он тогда в отделении занимался правонарушениями подростков.

На столе у него лежали книги, повернутые так, что посетитель, усевшись на стул, мог прочитать их названия.

Потом Василий Афанасьевич заметил, что книги эти не меняются, и понял: Коровин их держит, чтоб всем показывать.

О книгах Коваль никому не рассказывал, положительные сведения о Коровине он распространять не желал.

Василий Афанасьевич представился, лейтенант предложил ему сесть и спросил — так, что Ковалю показалось, будто не знакомиться пришел, а наниматься на службу:

— С подростками дело имели?

— Двух детей вырастил,— ответил Василий Афанасьевич,— один сейчас в армии, а дочка еще в школе учится.

— Значит, не имели,—сухо сказал Коровин,— свои-то дети у нас у всех есть. А читали что-нибудь из специальной литературы: Макаренко, Сухомлинского?

Но Василий Афанасьевич уже обиделся насмерть.

— Чтоб подростков воспитывать,— сказал он, хо-

лодно и демонстративно глядя на значок лейтенанта,— жизнь надо знать прежде всего, а не науку.

— Ну, этого вам не занимать,— как-то двусмысленно улыбнулся Коровин.— Вы столько профессий сменили, в стольких местах побывали,— добавил он, хотя Василий Афанасьевич никогда особенно много не ездил и с одного места работы на другое не перескакивал.

Но говорил это молодой лейтенант не случайно. Он твердо уверен был, что из милиции по своей охоте никто не уходит, а если уходит, то не просто так. А раз было из-за чего, то сиди и молчи...

Василий Афанасьевич отправился в милицию, чтоб разобраться, кто же на самом деле был виноват. Ехал он заступаться за своих учеников, но чувствовал, что не зря их на этот раз задержали. Для такого предчувствия были у него основания, были...

Он подъехал к милиции. Отделение находилось на привокзальной площади, и ходу до него от училища пятнадцать минут, но Василий Афанасьевич всегда приезжал сюда на машине. Училище было богатое и, кроме этого «Москвича», имело еще полугрузовой «пикап» и настоящую грузовую, и Василий Афанасьевич хотел, чтоб все видели — не какой-нибудь замухрышка приехал. Он с уважением относился к своей должности.

Коваль выбрался из машины, обошел ее так, чтоб оказаться у дверцы со стороны водителя, поглядел на часы и сказал громко (у входа в отделение стояло несколько милиционеров):

— До половины второго свободен.

Капитан Коровин был у себя в кабинете. Со времени их первого знакомства он изменился не много. Правда, Василий Афанасьевич считал, что с каждой звездочкой на погоне у него прибавляется гонора и живота.

Василий Афанасьевич подошел к столу, поздоровался и замолчал на минуту, ожидая, что капитан предложит ему сесть. Но Коровин тоже молчал. Тогда Василий Афанасьевич произнес:

— Я приехал, чтоб ребят моих взять, вы вчера их забрали.

Отделение часто отдавало учащихся Ковалю: и без подростков хватало забот милиции. Но в этот раз Коровин ответил:

— Вы с ними совладать не можете, значит, мы должны. Отсидят свое, тогда и берите.

— Свое ли?

— Свое, свое,— заверил Коровин.— По-вашему, эти ангелы всегда к нам за чужие грехи попадают, но тут уж все ясно: дебош в общественном месте. По десять суток подметать дворы! Пускай остынут.

О том, что два других парня были из Шанхая, Коровин, видимо, не знал, и пока это устраивало замполита.

— Ну, поговорить мне хоть с ними дайте,—сказал Василий Афанасьевич.

— Это пожалуйста, это — ваше право, они несовершеннолетние.— Коровин выглянул в коридор, кликнул сержанта и приказал ему: — Проводи товарища.

Когда открыли Сережину камеру, замполит, привыкнув к сумеречному серому свету (зарешеченное окно было почти под потолком), увидел, что Сергей сидит на железной кровати и лицо у него подавленного и потухшего человека.

«Сразу видно, что в первый раз посадили»,— отметил про себя Коваль, ему стало жалко Сергея.

— Что, отдыхаешь? — спросил он с такой интонацией, что в вопросе прозвучало: «Докатился?»

— Вынужден,— дерзко ответил Сергей и улыбнулся. В темноте заблестели зубы.

Сергей никогда особенно не любил Папу римского — такое прозвище получил Василий Афанасьевич у ребят. Но вчера Сергея привели сюда, открыли вот эту дверь, потом за спиной лязгнул замок, и Сергей остался один в холодной черной тишине. Он лег на тюфяк, сон не шел, и тогда, вскочив Сергей принялся барабанить в дверь и кричать: «Одеяло мне дайте!»

«И девушку красивую? — ответил насмешливый голос за дверью.— Холодно? Быстрее очухаешься».

«Дежурный,— подумал Сергей,— небось, считает, что пьяный орет».

Он опять лег, увидел в своем окне огоньки фонарей, прислушался к грустной перекличке паровозных гудков и горько заплакал.

А вот теперь пришел Коваль, хоть и не родной человек, но и не чужой все же.

— Ты что такой расхристанный? — спросил замполит.

— Да они отняли и ремень и шнурки.— Сергей опять улыбнулся.

— На работу поведут — вернут. Что же ты натворил такое?

— Ничего особенного,— ответил Сергей.

— Ничего особенного! — рассердился Василий Афанасьевич.— Ты знаешь, что Николаев в больнице лежит с сотрясением мозга?

Сергей перестал улыбаться и сказал зло:

— Жалко, что не на кладбище.

— Ты мне эти хулиганские разговоры брось! За что ты его избил?

— Значит, было за что.

— Дурак ты несчастный. «Было за что». Это сейчас тебе десять суток дали, а выйдет он из больницы, напишет на тебя заявление, и еще неизвестно, как все обернется. Мне, чтоб защищать тебя, знать надо, что произошло!

Сергей отвернулся, голос у него срывался, но он ответил:

— А меня теперь защищать ни к чему.

Он вспомнил, как на него кричала Оля, будто он не Ивана ударил, а ее. «Ненавижу! — Она билась у кого-то в руках.— Бандит, убийца, ненавижу!»

Он тогда искал ее, а повстречал Голицына, Горюнова, Кольку Петрова, они и сказали, что Оля на танцах. Сергей позвал их с собой. Они ворвались на «пятачок» вчетвером, народу было немного, и Сергей сразу увидел, что Оля танцует с «этим» недалеко от эстрады. Он подлетел к ней, схватил за руку (она вскрикнула от боли), потянул к себе, а того отпихнул ладонью: «Оставь ее в покое».

Музыка замолчала, вокруг них начало образовываться кольцо.

Оля вырвалась, а Иван, ошарашенный, не мог ничего понять. Потом потянулся к лицу Сергея, он был старше и сильней, сжал его нос, губы и щеки и толкнул так, что Сергей свалился на деревянный настил «пятачка».

— Ах ты, гад! — зашипел Сергей, ему только и нужно было, чтобы почувствовать себя правым.— Ах ты, гад.— Он размахнулся и изо всей силы двинул Ивана по челюсти.

Иван упал и, ударившись головой о край эстрады, потерял сознание.

Сергей испуганно оглянулся. Колька дрался с Зудой, Голицын с Внучиком, а Юрке два взрослых парня заламывали руки назад. Сергей рванулся на помощь, но его уже кто-то схватил сзади и повалил на пол...

Сергей, очнувшись от воспоминаний, вздохнул прерывисто, будто всхлипнул, и, как звереныш, посмотрел на Василия Афанасьевича.

Замполит никак не мог понять это злое упорство. Очень часто любой добрый шаг вызывал в ребятах не ответную доброту и сердечность, а настороженность, ожесточение. Порой Василию Афанасьевичу казалось, что его воспитанники чувствуют себя намного спокойнее, когда он их отчитывает за что-нибудь или ругает.

Вот и сейчас... Он спешил к ним на выручку, а в ответ получил?..

2

Замполит возвращался в училище, так ничего и не узнав.

Когда Коваль работал еще только первые дни, он, чтоб понять ребят, постоянно вспоминал свое детство.

«Нет, все-таки не были мы такие,— говорил он себе,— я ведь не был такой в их возрасте».

Когда ему было столько же, Василий Афанасьевич тоже занимался в училище. В шестнадцать лет он поступил в восемнадцатое (до сих пор помнил номер) железнодорожное училище трудовых резервов. Шел сорок седьмой год, а там кормили.

Василий Афанасьевич вспоминал себя в столовой, вспоминал, как староста нес на раздачу хлеб на поцарапанном алюминиевом подносе, а он глядел, какой кусок ухватить.

Дело в том, что он тогда мечтал купить себе настоящую железнодорожную фуражку с блестящим лакированным козырьком и посеребренной эмблемой.

И вот, какой бы кусок ни попадался, он радовался. Если горбушка, ее можно было продать и немного приблизиться к осуществлению своей мечты. Горбушку покупали на рынке бабушки и, разрезав на части, продавали чуть дороже.

А если хватал серединку (она небольшая, там и разрезать нечего), значит, можно было поесть; идешь из столовой и сосешь хлеб, как конфетку.

Только вот фуражку купить не пришлось. Так и не удалось скопить нужную сумму.

Он понимал, что нельзя стать хуже оттого, что теперь ребятам легче живется. Но, не в силах сдержаться, он, отчитывая своих «жеребцов» за их выходки, за грубость, за лень, за ложь, кричал им

— Не цените вы жизни своей! Зажрались вы! Жить вы хорошо стали!

У Василия Афанасьевича были все основания считать что его ученики жить хорошо стали. «Может, даже слишком»,— иногда думал он.

Вот, например, из-за чего разгорелись страсти недавно на педсовете.

Лев был самым молодым мастером-слесарем, и ему поручили заведовать кабинетом слесарного дела. Поручили, а потом не обрадовались — такой он отгрохал проектик. Все училище заставил на себя работать и денег потратил тьму.

Он сделал вместе с ребятами макет будущего кабинета и поэтому «агитировал педсовет наглядно».

— Кабинет оборудован вроде даже с излишеством,— заняв макетом весь стол в учительской, сказал Лев.— Вот диапроектор и кинопроектор с устройством для дневного кино, вот электрифицированная плакатница.— Он указочкой осторожненько тыкал в игрушечные приборы.— А стены комнаты выложены кирпичом, и вообще кабинет напоминает не учебную лабораторию, а сказочный теремок, снабженный современной техникой. Дистанционное управление позволяет педагогу, не вставая из-за стола, пустить или остановить фильм, менять диапозитивы, плакаты, ну, и так далее.

— Лев Андреевич, чего проще,— задал вопрос Коваль (он был союзником Прохорова, но из тактических соображений выступал его оппонентом),— прибить плакаты на реечки и развешивать их на гвоздях, а не тратить силы и средства на установку дорогостоящего оборудования?

— На первый взгляд действительно нет ничего проще этого. Но только на первый взгляд. Ведь, во-первых, урок — это представление, спектакль, и для того, чтобы ребята учителю верили, он должен играть интересную роль, роль могущественного человека, управляющего своим хозяйством словно по мановению волшебной палочки, и если нам в этом помогают не только опыт и знания, а еще и современные учебные приспособления, это лишь хорошо.

Коваль согласно кивнул и оглядел присутствующих — все слушали внимательно.

— Во-вторых, урок — спектакль, который не всегда и не все хотят смотреть, правда, с него нельзя уйти, как можно уйти из театра, но это — плохое утешение. Ведь можно на урок не прийти, а если и пришел, уставиться в окно и думать о том, как следующий матч сыграет любимая команда. Кино же, диапозитивы повышают интерес. Внимание переключается с учителя на учебный фильм, с фильма на плакат, и не так устаешь, пытаясь сосредоточиться, ну и вообще отказаться от кино труднее, чем от объяснения педагога. Меня-то видят они каждый день и прекрасно знают, что я никуда не денусь.

— Ну, а все-таки плакатница, плакатница ваша зачем? — настаивал Коваль.

— А! Понимаете, глядя, как от нажатия кнопки с жужжанием ползут плакаты, уже видишь и сами плакаты, причем волей-неволей фиксируешь в сознании иллюстрации, скажем, правил техники безопасности.

— А почему внутри все надо выложить кирпичом?! — Василий Афанасьевич делал вид, что даже раздражен немного тем, что у Льва на каждый его вопрос есть ответ.

— Это красиво и необычно. Нам надо уйти от обыденности. В очень большой степени не только человек определяет среду, но и эта среда определяет его. Работа не должна быть нудным, обыденным делом. А у такой комнаты всегда будет праздничный вид.

Василий Афанасьевич победно оглядывался, как будто это он, а не Лев Андреевич произнес перед своими коллегами такую убедительную и разумную речь.

Но тут поднялся учитель физики Владимир Николаевич Овчинников. Это был замкнутый и уже пожилой человек. Когда он с кем-нибудь подолгу разговаривал (что случалось совсем не часто), то всегда смотрел в сторону или в пол. И лишь на своих лекциях Владимир Николаевич преображался, будто бы молодел. Морщины у него разглаживались, он выпрямлялся, его сухой голос звучал мелодично, легко. Владимир Николаевич славился еще своим редким упрямством. Коваль знал о его постоянных стычках с заведующей учебной частью из-за того, что Овчинников ставил недопустимое количество двоек, исправить которые было трудно. А при этом контрольные ребята писали лучше всего

именно по его предмету. Если приходила проверочная работа из районного или городского отдела образования, то за учеников Владимира Николаевича не волновались.

— Я с вами, Лев Андреевич,— сказал на педсовете Овчинников,— категорически не согласен и не согласен принципиально. Сегодня, чтобы заниматься,—кирпичные стены, завтра мраморные, послезавтра серебряные, потом золотые. Если человек хочет учиться, надо его учить, а если не хочет, то и нечего тратить на лодыря время и деньги.

— Вы высказали совершенно верную мысль, Владимир Николаевич,— ответил Лев,— и я с вами абсолютно согласен.

— Как согласен? — перепугался Коваль, мечтавший о таком кабинете, в который будут ходить на экскурсии изо всех училищ и который их училищу принесет славу. Он нападал на Льва только затем, чтоб его никто другой не клевал.

— Конечно, согласен, только все можно довести до абсурда. Что Владимир Николаевич и сделал. А вообще, чтоб поддерживать интерес к предмету, нам надо постоянно менять условия обучения, задания, методику. Вы, Владимир Николаевич, правы, но только отчасти. Смешно заставлять заниматься нерадивого студента вуза, его, видимо, правильнее просто отчислить. Но никакие затраты и силы не велики для обучения подростка. Потому что он подчас не из-за вредности куролесит, они в этом возрасте одинаковые и в школе, и в техникумах, и у нас в училище, и в других училищах тоже. Я по себе помню...

Все засмеялись: Лев — раскрасневшийся, встрепанный — был очень похож на мальчишку.

— Правда, по себе помню, идет такое возрастное самоутверждение — по глупости, а не по злости.

Педсовет высказался все-таки за устройство кабинета. Василий Афанасьевич Льва, конечно, поддерживал, но после заседания проникся уважением к Владимиру Николаевичу. «Правильно говорил физик,— вспоминал Коваль,— почти что в рот им кладем, не жуем только. Им бы о куске хлеба заботиться»,— думал замполит о ребятах.

...Коваль пришел к себе в кабинет и вызвал Зинаиду Дмитриевну.

Василий Афанасьевич часто и с гордостью говорил, что в училище на одного ученика приходится по семь нянек.

Правда, распекая своих работников — а влетало им всем, как правило, за грехи подопечных,— он повторял, иногда сердито и твердо, а иногда будто спрашивая ехидно: «Ну что, семь нянек — а дитя без глаза?» Но об этом из посторонних никто не знал.

Зинаида Дмитриевна была одной из таких «нянек». Она работала воспитателем группы, в которой учился Сергей. Ей было двадцать три года, и ребята называли ее за глаза Резиновая Зина или просто Резина. Это прозвище Зинаида Дмитриевна сама на себя накликала.

В одной группе с Сергеем учился мальчишка по фамилии Голицын, по кличке Князь. Он пришел в училище из детдома и родственников своих никогда не знал и не видел. В детдоме кто-то из сердобольных нянечек открыл ему, что мать отказалась от него сразу после родов. И он, чтоб не так грустно было на свете жить, выдумал себе деда из старинного боярского рода — князя Голицына.

Вот из-за этого мальчишки Зинаида Дмитриевна и получила свое прозвище. Князь очень сильно картавил, и после первого же медосмотра в училище его направили к логопеду. Он ходил к врачу два раза в неделю, а остальные пять дней постоянно напевал упражнения, которые задавал логопед на дом.

И однажды Зинаида Дмитриевна услышала от него:

— Резиновую Зину купили в магазине, резиновую Зину помоем мы в бензине.

Дело было вечером в холле общежития, Зинаида Дмитриевна сидела за своим письменным столом, а Князь невдалеке от нее играл на бильярде. Он, пританцовывая, ходил взад-вперед, примерялся, как лучше ударить, и совершенно машинально, как учил врач — форсируя звуки «Р» и «З», напевал эти слова.

Зинаида Дмитриевна была еще совсем молодым воспитателем и поэтому больше всего боялась панибратства со стороны ребят.

— Голицын,— сказала она,— что это за фамильярность? А ну, прекрати сейчас же.

— Чегой-то такое — фамильярность? — спросил Голицын.

— Ну, развязность,— ответила Зинаида Дмитриевна,— какая я тебе Зина?

— А! Это не про вас.

— Все равно прекрати.

Но подросткам только запрети что-нибудь...

На следующий день вся группа знала про Резиновую Зину, и уже ни у кого не было сомнения, что это никакое не упражнение, а скрытая сатира на Зинаиду Дмитриевну. Считали так по многим причинам. Потому что она зануда, как начнет воспитывать — резину тянуть, хоть стреляйся. Потому что она глупая. (Ребята вообще редко кого считали умнее себя; был, правда, один мастер производственного обучения — Куманьков Анатолий Петрович, тридцать раз на турнике подтягивался.) Потому что она красивая. Это тоже, как ни странно, было причиной: да, красивая, говорили девчонки, как кукла.

Вот с этих пор Зинаида Дмитриевна стала Резиновой Зиной и уже ничего не могла с этим поделать.

Василий Афанасьевич тоже недолюбливал Зину. Ему всегда казалось, что она знает про ребят больше его самого, но ему не все рассказывает.

«Специально,— думал про нее замполит,— чтоб где-нибудь на педсовете или на совещании у директора блеснуть».

Зинаида Дмитриевна считала, что умеет держать в руках ребят и девчонок, и не забывала напомнить про этот свой талант остальным.

И сейчас Василий Афанасьевич, хоть и расстроился из-за всего, но, не сознаваясь даже себе, был немного доволен, что произошло это в группе у Зины, а не у другого какого-нибудь воспитателя.

— Опять у вас ЧП,— сказал замполит, когда она вошла к нему в кабинет, и подал ей письмо из милиции.

Зина взяла листок.

— Из-за чего это все там произошло? — Замполит посмотрел на нее.

— Не знаю,— ответила Зина, не отрывая глаз от письма.

— А кто же знать должен? Вы воспитатель или...— Он начал перебирать на столе бумаги.— Или вас уже освободили от занимаемой должности? — Василий Афанасьевич поднял опять глаза на воспитательницу.

— Так это ж «шанхайские»,— сказала Зина.

— Ну и что?

— Вы лучше меня знаете — что,—ответила Зина довольно грубо и положила письмо на стол.

Коваль действительно знал про Шанхай лучше нее. Он про Шанхай сотню рапортов отправил в

разные организации. В них писал: «Довожу до Вашего сведения о нижеследующем: постоянно с нового учебного года городские подростки-хулиганы, проживающие в районе так называемого поселка Шанхай, систематически приходят к общежитию, пристают к учащимся, выворачивают карманы, отнимают деньги, избивают... В результате от их хулиганских действий наши учащиеся, приехавшие из сельской местности, бросают училище и уезжают домой...

Обращаюсь к Вам с просьбой повлиять на соответствующие службы города по оказанию содействия коллективу училища в создании нормальных условий для учебы и отдыха».

Это Василий Афанасьевич писал в официальных бумагах, а в выступлениях и частных беседах говорил:

— Там, в Шанхае, такие типы живут, как у Горького «На дне», и даже почище...

«И бороться с ними не под силу одному человеку,— думал Коваль.— Обращаешься ко всем, а на тебя только кидаются. Сначала Сергей в милиции, а теперь эта вот...»

Василий Афанасьевич опять подчеркнуто пристально посмотрел на Зину. Ну никак не верил он ей...

«Сама молодая, а уже натренировалась. Спрашиваешь с нее, так она тоже чуть не по столу стучит».

3

Город делился на три района. Первый из них назывался Старый город и существовал испокон веку. За свою историю он поменял десяток названий, и вот теперь, когда стал строиться Новый город, или микрорайон, Старый вовсе утратил имя и превратился в захолустную слободу, грязную, одноэтажную и унылую.

Но еще прежде, чем начали появляться бетонные дома Нового города, одновременно с закладкой большого автомобильного завода родился третий район, состоящий из деревянных вагончиков, в которых жили строители. Вытянувшись длинными разноцветными цепочками, они образовали улицы и переулки.

С началом строительства в город хлынули разные люди, но больше всего было жителей из окрестных деревень. Они со своими семьями и въезжали в вагончики, участки вокруг которых, обнесенные изгородью, превращались в крошечные дворики с навесами и сарайчиками, с курами, бродящими в пыли, с утками, плавающими здесь же, в лужах.

Из-за миниатюрности двориков, тесноты и большого количества людей район этот, как уже говорилось, и был окрещен Шанхаем.

Долгое время Шанхай рос и процветал. Город строился и принимал всех: ребят, направленных по комсомольским путевкам; шабашников разного рода; демобилизованных воинов; бывших заключенных; людей, которых в отделах кадров из-за их трудовых книжек, похожих на роман с продолжением, называли «перекати-поле»; романтиков, отправляющихся испытать себя и за несколько месяцев заработать несколько тысяч, и всех других, вздумавших вдруг по каким-либо причинам сменить место жительства.

А с тех пор, как закончили завод и принялись строить город, Шанхай вступил в пору упадка. Отсюда стали переезжать, но переезжали в новые квартиры, общежития только те, кто работал, поэтому доля неработающих в Шанхае сильно выросла. Некогда тесные шанхайские улицы перестали быть тесными, зарастая травой, переставали вообще быть улицами, по всему поселку носились стаи брошенных псов, с подведенными от голода животами, а в покинутых домах мальчишки играли в прятки и казаки-разбойники.

Когда-то жили шанхайцы тесно, так тесно, что если где-нибудь ссорились муж с женой, все соседи знали, из-за чего. Но после переездов старые связи постепенно ослабли и совсем развалились. Зато появлялись компании и компанийки, объединяющиеся по законам совершенно загадочным.

Одной из таких компаний и была футбольная команда Шанхая, которая враждовала с городскими ребятами. Началась эта вражда как-то случайно, на футбольном поле, и продолжалась уже постоянно, то затухая, то разгораясь с новой силой.

— Слух о нас такой идет,— однажды сказал Волга (он уже несколько лет был «королем» в поселке),— что мы обязаны над городскими верх взять. Если хотим победить,— заключил он,— должны гужеваться вместе.

И они стали держаться друг друга — Волга, Внучик, братья Баранчины, Зуда — довольно пестрое общество, но каждый из них считал, что друзья они — не разлей водой.

Как-то отправились в парк гулять. Там веселье, иллюминация разноцветная, народ, музыка.

Этих двоих увидели в боковой аллее: худощавый парнишка, очень аккуратненький, в отглаженном костюмчике, и девушка, похожая на розовое облако, шли обнявшись и были так счастливы, что Зуда аж зашипел от возмущения.

Сначала решили просто «подухариться» и только слегка пугнуть влюбленных, чтоб не думали они: раз им хорошо, значит, и весь мир из одной благодати. Но потом увидели, как те всерьез напугались, как парнишка, побледнев, все пытается загородить девушку собой, и одного испуга уже показалось мало.

— Что мы вам сделали плохого,— спрашивал парень,— мы же не трогали вас, что вам нужно?

— Нам баба твоя понравилась. — Зуда потянул к девушке руки.

— Прошу вас, отпустите ее, а я останусь с вами.— Голос у него срывался, но он пытался овладеть собой.

— Нужен ты нам! — хохотнул кто-то.

— Да мы и тебя отпустим,— вдруг сказал Волга,— вот должок только отдашь.

Все с удивлением уставились на него.

— Да это ж дружок мой. Убери щупальца.— Волга стукнул по рукам Зуду, а сам обнял паренька.— Занимал он у меня, а теперь не признает. Гони трешник и катись на все четыре стороны.

— Вот! Вот! Пожалуйста.— Парень начал судорожно искать по карманам.— Вот, у меня только два рубля есть.

— Ну, значит, еще один за тобой будет.— Волга цапнул деньги, подмигнул и двинулся со своей компанией в сторону танцплощадки.

С тех пор и повелось так: если хотелось чего, а денег не было, сначала шли в город собирать «долги». Где-нибудь в людном месте, чтоб своим количеством не привлекать внимания, или уж совсем в безлюдном выбирали парочку посчастливее, окружали ее... («У влюбленных,— говорил Волга,— «тугрики» должны водиться — цветы, мороженое, знаки внимания».)

Правда, не всегда все шло гладко. Иногда парень упирался и никак не хотел признавать своего «луч-



шего друга». Или девчонка поднимала с испуга крик, который не удавалось заглушить ни песнями, ни деланным смехом, ни игрой на гитаре. Приходилось рассыпаться в разные стороны, чтоб через некоторое время опять собраться и найти новое дело.

Бывало, шанхайцы приходили к училищу. В училище в основном занимались ребята из деревень, и в городе у этих ребят, особенно в первые месяцы, друзей и защитников не было. Для города — чужаки, для шанхайцев — самые что ни на есть горожане, при этом можно было с гордостью похваляться тем, как вчера городским «вломили», не опасаясь, что завтра «вломят» тебе: разобщенные, особенно поначалу, ребята из училища не могли оказать Шанхаю отпор.

С шанхайцами и подрался Сергей.

В отделении сидел еще Юра Горюнов, но к нему замполит не зашел даже. Знал: раз один молчит, значит, и второй ничего не скажет. «Клещами у них не вытянешь»,— с раздражением подумал Василий Афанасьевич.

4

Сергей с Юрой познакомились в первые дни. Тогда, в начале учебного года, шанхайцы, можно сказать, дежурили у общежития, и както Сереже здорово досталось от них...

Юра привел его к девчонкам в комнату и, глядя на то, как ласково вокруг Сережи хлопочет Оля, вспомнил свой дом, день отъезда, когда он сидел перед домом на бревнах с Людой Беловой, бывшей его одноклассницей, и они, взявшись за руки, часа два о чем-то шептались. Потом он прощался с домашними, и Витька, самый младший его братишка, все дергал старшего за брюки и хныкал: «Юрка, я поеду с тобой».

«Да я скоро вернусь,— сказал Юра,— скоро вернусь». И сам чуть не расплакался.

До города было полдня пути, сначала автобусом, потом на электричке. И хоть приехал поздно, устроилось все хорошо: Юрка легко нашел строительное училище, в котором учился сосед из деревни, и этим же вечером, уже зачисленный, ночевал в общежитии.

Новая жизнь захватила сразу. День пробегал незаметно. Ведь в училище читали бездну предметов: весь курс средней школы и еще по специальности. Особенно нравились Юре практические занятия. Их вел Прохоров.

Сначала Лев Андреевич преподавал основы слесарного дела. У него на уроках всегда было весело.

— Вот болванка,— говорил он,— из нее нужно изготовить молоток. Как это сделать?

— Опилить! — кричали ребята.

— Можно нагреть и выковать.

— Или выточить на станке!

— Все правильно. Даю генеральное направление — цитирую великого скульптора: чтоб создать хорошую скульптуру, надо взять кусок мрамора и отбросить от него все лишнее. Так что вам осталась сущая ерунда — отбросить лишнее от вашего молотка. Начинайте отрабатывать приемы работы напильником.

— А у меня самая толстая заготовка,— пищал кто-то,— несправедливо, у меня больше всех лишнего!

— Конечно, несправедливо,— отвечал Лев,— у тебя больше возможностей научиться классно работать. Так что затаись и действуй.

Ребята смеялись.

Больше всего Юра любил, когда Лев Андреевич учил их тому, чего они вообще никогда не умели делать. Юра паял на уроке и с удовольствием думал, что сможет залудить дома любой самовар или кастрюлю; работал по жести и убеждался, что теперь запросто покроет крышу.

Юра прямо физически чувствовал, как у него от урока к уроку руки наливались умением. Он смотрел на них и думал про себя радостно: «Ай да я!»

А по вечерам он ходил с приятелями в кино или на танцы в городской парк культуры. Правда, Юра немного робел поначалу, но потом отпустил длинные волосы, вставил в брюки громадные клинья и уже уверенно шагал по улицам, заложив руки в карманы и независимо поглядывая по сторонам.

Хоть и нравилось ему в городе, а все-таки дом вспоминал постоянно. Особенно когда ложились спать. Он вскакивал вдруг с кровати и мечтательно произносил:

— В деревне сейчас хорошо.

— Чокнутый ты, Горюн,— отзывался кто-нибудь из ребят, поворачиваясь на другой бок.

— Да,— отвечал он и смеялся,— знаете, я там в клубе, в кино, со своей девчонкой целовался.

— Ну и чего ты, целуйся здесь.

— Не, здесь как-то неловко, и потом она меня ждать обещалась.

— Ага, ждет — не дождется,— сказал Сергей, его кровать стояла рядом.

Но Юра на его слова даже внимания не обратил. Он был уже дома.

— Конечно, здесь все условия, и одевают, и обувают, и каждый день мясо...

«Каждый день мясо»,— так говорил отец, убеждая Юру, что ему необходимо поехать в город учиться.

— ...Зато дома нам маманя пышки пекла. Мы вечером, зимой, пышек с молоком наедимся, а потом сядем в лото играть. У нас маманя всегда выигрывала, жульничала ужасно. Обжулит всех, смеется, хохочет,— Юра тоже начинал хохотать,— отец надуется, сидит хмурый, а маманя еще пуще смеется. Только он специально проигрывал, уж больно она радовалась. Она у нас часто болеет...— Юра вздохнул и махнул рукой: — Ну и вот. Я вообще-то привык здесь, но по вечерам домой тянет, не могу прямо.

— Дома, конечно, лучше,— ответил Сергей, из всех ребят он один не заснул, остальные до конца слушали байки лишь про девушек и про любовь.— Только начальников там над тобой: бабки, папки, мамки, а здесь сам над собой хозяин.

— Это конечно. Но только если б я, как ты, в городе жил, в общагу не переехал бы и тебе не посоветовал.

— А у тебя совета никто и не спрашивает.— Сергей отвернулся к стене.

В классе он был коноводом и советов ни от кого не терпел. Даже некоторые учителя побаивались его. Еще в самом начале учебного года он прославился тем, что довел до слез Ирину Алексеевну, молоденькую учительницу по эстетике. В тот день они слушали на уроке Бетховена, Героическую симфонию. Поставив пластинку, Ирина Алексеевна села за стол, чуть прикрыла глаза и, оперев свою хорошенькую головку на тонкую бледную руку, начала комментировать музыку.

— Вот волны, вот лодка плывет,— говорила она,— светит луна.

А Сергей в это время играл с соседом по парте в морской бой, и с их стороны до учительницы постоянно долетало: «ранен», «мимо», «пошел ко дну».

Ирина Алексеевна три раза делала замечания, а потом, потеряв терпение, выключила проигрыватель и строго проговорила:

— Волков, покинь, пожалуйста, класс.

— Ну, ладно,— милостиво ответил он,— я больше не буду.

— Я прошу тебя выйти.

— Ну, сказал же, больше не буду.

Ирина Алексеевна топнула ножкой и почти крикнула:

— Мне что, директора вызывать, что ли?! Выйди отсюда вон!

Сергей нехотя встал из-за парты, сунул под мышку папку и, медленно подойдя к столу, произнес:

— Мне вот этого,— он кивнул на слова, написанные крупными буквами на стене кабинета эстетики, «В человеке все должно быть прекрасно...»,— и вот этого,— показал он на проигрыватель,— знать не нужно, чтобы ставить в домах унитазы. И на уроки ваши я ходить больше не буду. Но если ты мне за полугодие не поставишь тройки,— Сергей погрозил пальцем перед носом Ирины Алексеевны,— имей в виду!..

— Как вы... как ты... смеете?! — закричала Ирина Алексеевна и выбежала из класса.

На перемене ребята видели, как она плакала в учительской, а успокоившись, пошла жаловаться замполиту.

Конечно, такие фокусы могли пройти на занятиях лишь у совсем молодого учителя.

Как-то Сергей попытался на уроке у Владимира Николаевича устроить дискуссию на тему: «Зачем, мол, нам, слесарям, малярам, штукатурам, каменщикам, учить эти всякие глупости, вот, например, физику?»

— Ну, правда ж, Владимир Николаевич, для чего мне знать,—Сергей удивленно пожал плечами,— как движутся звезды?

Владимир Николаевич не попросил тогда Волкова замолчать и не выгнал его из класса.

— Ну, прежде всего,— ответил он,— в физике есть раздел, который называется «Механика жидкостей и газов», и без знания его слесарю по сантехническому оборудованию просто невозможно работать. Но дело не в этом. Физика — дисциплина фундаментальная и не является служанкой техники. Если бы было так, то каменщики могли изучать один сопромат, маляры — только химию, чтоб про краски что-нибудь знать, ну, и так далее, а остальное время тратить на практические занятия.

— Во, правильно,— обрадовался Сергей и оглянулся на ребят, ожидая поддержки.

— Да ничего не правильно. Я ж говорю, физика не наука-служанка, а госпожа. Она существует не для удобства, не для того, чтоб нам вкуснее есть, слаще спать, а, наоборот, делает нас беспокойными, одновременно удовлетворяя и разжигая неодолимую страсть человека к познанию. Инстинкт познания — чисто человеческая черта, не присущая больше никаким живым организмам.— Владимир Николаевич, как это часто случалось с ним, когда он рассказывал о любимом предмете, будто бы помолодел.— Физика призвана не только облегчить нашу жизнь, ее цель и задача — открыть перед нами картину мира, которую необходимо себе представлять, ведь от этого зависят в громадной степени человеческие убеждения, устройство нашего бытия и вообще очень многое...

Владимир Николаевич чувствовал: речь ему удалась, и ребята слушают его с интересом. Один только Сергей иронически поглядывал на него. «Меня твои педагогические морали не трогают,— будто бы говорил он,— я остаюсь при своих убеждениях».

Владимир Николаевич смотрел теперь только на Волкова.

— Современному рабочему необходимо довольно широкое образование, потому что сегодня на производстве технология одна, а завтра она усложнилась, и он, профессионал, конечно же, не должен дисквалифицироваться. Я уж не говорю о том, что сейчас быть неучем просто стыдно. Это раньше человек мог остаться невеждой, потому что у него денег не хватало на обучение или судьба сложилась тяжелая. А теперь неуч — это бездельник, лодырь или...— Владимир Николаевич остановился, подыскивая подходящее слово.— Ну, или дурачок. Ты кто? — вдруг он обратился к Сергею.

Весь класс захохотал. Сергей видел: смеются над ним.

— Я?! Я?! — вскочил он, весь красный.— Спросите меня завтра — увидите.

— Завтра у нас урока нет, а вот во вторник пожалуйста,— согласился Владимир Николаевич.— Я даже в журнале точку поставлю, чтоб не забыть.

И во вторник Сергей отвечал так, что Владимиру Николаевичу не надо было жаловаться на него замполиту.

Ирина же Алексеевна после того случая на уроке эстетики называла Волкова только на «вы». Она решила, что и презрение надо выражать подчеркнуто вежливо, но ребята почему-то считали, что она просто боится Серегу.

А замполит вызвал тогда его родителей. Сделать это было несложно: жили они в городе.

С тех пор, как родители разошлись, но не разъехались — потому что те варианты обмена, которые устраивали мать, не удовлетворяли отца, а те, что нравились отцу, не подходили матери,— их двухкомнатная квартира превратилась из отдельной в коммунальную. Отец довольно быстро женился, а мать—чтобы он не подумал, будто она по этому поводу переживает,— вышла замуж, но за человека много старше ее, и которого, как сама говорила, она уважала. Отец с женой занял маленькую комнату, мать с мужем — большую. Сам Сергей спал теперь на раскладушке в прихожей. Там немного сквозило из-под двери, но зимой он бросал на порог старую телогрейку, а летом сквозняк был даже приятен.

Так они и жили в этой квартире, как две семьи или как три, потому что Сергей никак не мог понять, к какой же семье относится он, а потом твердо решил, что ни к какой. Поэтому, когда весною в их школе повесили объявление о том, что производится набор в профессионально-технические училища, Сергей, сдав экзамены за восьмилетку, отнес документы в то, у которого было свое общежитие.

Зачислили его сразу. Он возвращался из приемной комиссии и думал, как выскажет все отцу и матери, когда его начнут отговаривать от ПТУ. Он скажет им, что его будут там и одевать, и поить, и кормить, и еще деньги платить, так что им теперь не придется ругаться, выясняя, кто на него больше потратил, а потом, когда Сергей вырастет, он не наплюет на них, как они на него наплевали, разойдясь, и теперь продолжают плевать, не желая разъехаться. Он станет сантехником (Сергей с удовольствием представил, как испугается мать; сама она работала парикмахером, но почему-то считала, что сын у нее будет юрист), так вот он станет сан-

техником, уедет от них и не вернется даже через сто лет, но когда они постареют, он будет им помогать, а не то, что они... в общем подготовил целую обвинительную речь.

Но его никто не отговаривал и ничего ему не возражал.

Он стал жить в училище, и у него появилось теперь свое собственное, личное место в спальне, своя кровать, которая, хоть и стояла рядом с четырьмя другими, но не убиралась, как его раскладушка, и ему теперь не надо было слоняться весь день по улицам и возвращаться домой только к ночи, чтоб не видеть отца, обнимающегося с новой женой, чтоб не слышать отчима, который постоянно читал мораль; появились свое место в столовой, свой дом. И большего ему не было нужно.

Обучение? Практика? А ну их...

Поначалу мастер просто не знал, что с ним делать. Соберется поручить на стройке монтировать оборудование, а Сергей отвечает:

— Ну, что вы, Лев Андреевич, как я унитаз ставить буду? Здесь кругом девушки, я не могу,— и исчезает.

Бегать-то за ним не будешь, еще ведь ребята есть, их тоже учить надо.

Однажды на стройке Лев заметил, что Сергей все время ходит и смотрит, как работает огромный трактор. Это был «Кировец». Он легко передвигал груды мусора или перевозил на прицепе самые крупные панели и блоки.

Мастер видел, куда все время убегает Сергей, незаметно подошел к нему и спросил:

— Поездить хочешь?

Сергей вздрогнул от неожиданности.

— А бульдозерист-то позволит?

— Позволит. Это мой ученик, в прошлом году наше училище окончил.

Мастер закричал, засвистел, замахал руками, привлекая к себе внимание. «Кировец» развернулся и, постепенно заслоняя собой все пространство, пошел прямо на них.

— Как же он ваш ученик? — боязливо отодвигаясь назад, спросил Сергей.— Вы же сантехник.

— Ну, миленький мой, после техникума я и слесарь-сантехник, и слесарь ремонтник строительной техники, автослесарь, машинист башенных кранов, бульдозерист, автоводитель второго класса и еще ваш педагог... Да ты не бойся,— повернулся Лев Андреевич к Сергею, — он точно остановится. — Прохоров засмеялся:— Все-таки я его учил.

Из кабины «Кировца» высунулся щуплый парень и крикнул, перекрывая шум мотора:

— Лев Андреевич, чего звали?

— Прокатиться хотим.

Парень махнул рукой, приглашая к себе.

Когда Лев Андреевич вместе с Сергеем устроились в кабине, которая находилась непривычно высоко над землей, парень, перехватив восхищенный Сережин взгляд, сказал, ласково поглаживая руль машины:

— Двести лошадиных сил.— Потом, словно почувствовав, что Сергей вот-вот попросит дать ему повести бульдозер, добавил медленно, с чувством собственного достоинства: — Не каждому доверят.

Сергей разозлился: «Может, на два года всего старше, а какой воображала».

— А тебе за какие заслуги доверили? — спросил он.

— Ну, мне...— сказал парень с таким видом, будто глупее вопроса Сергей и задать не мог.— Я техникой интересуюсь. Меня вон в училище инженером звали.

«Ну, ничего! — решил для себя Сергей.— И я добьюсь, что меня будут называть инженером».

Ребята в училище его уважали — он так считал,— на самом деле побаивались, но слушались. Каждый из них уверен был втайне, что может стать атаманом не хуже Сергея, но его шутки были злее, выходки нахальнее, и другие ребята бледнели на его фоне.

Только Юра смотрел на Сергея, как на доброе божество. Один Сергей не смеялся над ним, над рассказами о доме, не дразнил маменькиным сынком, а, наоборот, готов был снова и снова слушать о дедушке, бабушке, матери, сестре и братьях.

Юру, неизбалованного, приученного к тяжелой крестьянской работе, не случайно прозвали Сынком. Однажды Василий Афанасьевич радостно объявил ребятам:

— Базовое предприятие дало нам деньги, и мы едем в каникулы на экскурсию в Ленинград.

— Ура! — закричали все, и лишь Юра был огорчен.

Вечером он пришел к замполиту.

— Я в Ленинград не хочу, мне домой надо.

— Чудак-человек, ну, когда у тебе еще случай представится?

— Не хочу! — упрямился Юра.

— Деньги-то выделены, их надо использовать, а то в следующий раз не дадут. Поедешь,— сказал замполит.

Ребята прозвали его тогда Сынком: как же, сам признался, что к мамке хочет больше, чем в путешествие. И орали несколько дней при девчонках, в столовой, на улице:

— Эй, Сынок!.. Как дела, Сынок!.. Сынок, что не ешь, не мамкино, да?

Нащупав ранимое место, подростки долбят в него без меры. В юности редко чувствуют чужую боль.

Сергей прежде тоже доводил Юру. Он бы рад промолчать, да не мог: коновод в любом начинании должен быть впереди. Юра почти не отбивался.

— Ты сильный, да?

— Может, сомневаешься?

— Да не сомневаюсь, ты сильный, тебе не надо домой, ты можешь один, а я нет.

С этого момента Сергей и взял Юру под свою защиту, но не из сострадания, а потому, что Юра вдруг увидел его таким, каким бы Сергей сам хотел видеть себя.

Почти любой из парней на вопрос, что ему больше всего нравится в училище, смеясь, отвечал: каникулы. А Сергею каникулы были как наказание: не ждал его никто дома, там из-за него возникали сплошные неудобства.

Правда, можно написать заявление, объяснить причину и на праздник тоже остаться в училище, но это значило бы признаться, что родители у тебя хуже других и сам ты не такой, как все, а кто не такой, как все, считали ребята, тот хуже всех.

И он ехал домой. Ехать-то было минут десять одним автобусом и минут десять другим, а казалось, что приезжал во вчерашний день.

Мать начинала готовить праздничный обед. А вечером приходил отец и тоже требовал к себе за стол, а если Сергей отвечал, что сыт, отец обижался:

— Это она тебя против меня настраивает.

И начиналось...

Раньше они вечно спорили, кто должен ему готовить: мать на отцовы деньги или отец — и тогда брать деньги с матери.

Теперь, чтоб не скандалили, он съедал все в двойном количестве. И все же они находили повод, чтоб поругаться.

Когда Василий Афанасьевич из-за Ирины Алексеевны вызвал родителей Сергея, первой пришла в училище мать. Хоть и одета она была в свое лучшее зеленое платье, с новыми золотистыми бусами, и хоть губы у нее были ярко накрашены, а черные блестящие волосы раскиданы по плечам, все равно выглядела она какой-то испуганной, сидела на краешке кресла и смотрела в пол.

Сергею стало жалко ее. он подумал: она только в праздники так одевалась или если в гости идти.

Замполит принялся ругать Сергея, но в голосе его не чувствовалось вдохновения: второй раз повторял уже сказанное. А потом начала мать.

Сергей вздохнул и спросил:

— Ты зачем явилась сюда?

Она испуганно посмотрела на него:

— Вызвали.

— Я тебя вызывал?! Ты не суйся в мои дела! Вы там в своих разберитесь сначала.

Мать заплакала.

— А в своих я уж сам разберусь.— Он подошел к столу, взял графин. —Я воды пойду принесу.— Но обратно уже не вернулся.

А мать все сидела, все плакала и говорила:

— Я на него совсем не имею влияния, вы отца вызывайте, только он не придет.

Отец действительно не пришел. В ответ на открытку, посланную ему, он позвонил Василию Афанасьевичу и сказал:

— У меня работа. А вы его взяли? Ну, и доведите его до ума.

Замполит, поняв, что рассчитывать на помощь родителей нечего, сам принялся доводить «до ума» Сергея. А его подопечные, по его же собственным словам, доводили его до сумасшедшего дома.

Однажды Василий Афанасьевич замещал в Сережиной группе мастера и во время практики вместо него поехал с ребятами на стройку.

В столовой за завтраком замполит подгонял ребят, чтобы не опоздать. Приехали вовремя, но спешили напрасно, потому что трубы для разводки все равно еще не подвезли. Некоторое время убирали мусор на стройплощадке, а потом Коваль разозлился и отправился ругаться с прорабом из-за того, что, как всегда, ПТУ обеспечивают материалами в последнюю очередь.

Вот тогда Сергей и предложил поиграть в «колдунчики». Все с радостью согласились и принялись друг за другом носиться. И все бы кончилось хорошо, не заберись они на леса. Бегать по лесам страшней, но интересней: бежишь, под тобой все гремит, дрожит, и неизвестно, что̀ через несколько метров: придется ли спускаться вниз или лезть наверх.

За Юрой бежал Васька Петров, «заколдовать» он Юру не мог: Юра подпускал Ваську к себе, а потом легко ускользал у него из-под рук. Но Васька был парнем настырным и отставать тоже никак не хотел, надеясь загнать Юру туда, откуда ему просто не будет ходу. Юра повернулся посмотреть, близко ли Васька, рванулся вперед — и загремел вниз, потому что не увидел, что впереди дыра. Он летел с четвертого этажа до второго, а на втором ударился грудью о щит и несколько секунд не мог вздохнуть. Он не в силах был даже подать голос, когда несколько человек, видевшие, как он падал, кричали:

— Юрка с лесов сорвался! Юрка убился!

Из прорабской прибежал совершенно серый, покрывшийся бисеринами пота замполит.

К этому времени Юра, уже улыбаясь, стоял в окружении ребят и виновато твердил:

— Да ничего, да все в порядке.

Василий Афанасьевич, всех растолкав, начал ощупывать Юру:

— Да как же это? Как же?

— Мы в «колдунов» играли,— опять виновато ответил Юра.

— А? Да...— Коваль все трогал Юрины ноги, грудь, спину.— Ну, ничего...— Он вздохнул и счастливо улыбнулся.— А кто ж придумал эту игру?

Сергей, видя, что замполит улыбается, что сейчас они все вместе могут посмеяться над общим испугом, сказал:

— Это я предложил.

Замполит молниеносно к нему повернулся, схватил за грудки и, притянув к своему опять побелевшему лицу, закричал:

— Да ты понимаешь, что у меня двое таких, как ты?! — Он изо всех сил тряс Сергея.— Ты можешь это понять?!

Когда они вернулись в училище, замполит потребовал, чтоб Сергей написал объяснительную записку. Это была обычная процедура, анализировать свои поступки в письменном виде Василий Афанасьевич заставлял его всегда, да и других ребят тоже. Так, во-первых, не пропадали в небытии их нарушения и благие обещания, а, во-вторых, многие при этом испытывали неловкость, а иногда даже и стыд.

Но от этой объяснительной Сергею удалось отвертеться: он приболел немного и вечером лег в изолятор.

5

Сергей был крупным, здоровым парнем, но почему-то часто простуживался. Ребята еще не учились двух месяцев, а он уже три раза попадал в изолятор. Правда, его самого это совсем не расстраивало. Во-первых, он лежал там не подолгу, а, во-вторых, в четыре часа врач и сестра кончали работать, и к Сергею приходили товарищи, пели под гитару песни, играли в шашки и домино.

Иногда навещала Оля. Она училась с Сергеем в одном классе, и половину своих фортелей он выкидывал из-за нее. Она редко позволяла себе их замечать: Оля была комсоргом, отлично училась и не могла водить дружбу с главным разбойником класса. А в изолятор прийти могла — не как Оля, а как должностное лицо. Она садилась к Сергею на край кровати и, на него не глядя, начинала рассказывать давно уже известные новости.

Правда, однажды Олиным должностным визитам пришел конец.

Сергей тогда жаловался, что у него болит голова.

— Надо температуру измерить,— предложила Оля.

Но сестра уже ушла, а градусник был заперт у нее в шкафу.

Оля наклонилась и прохладными мягкими губами прикоснулась ко лбу Сергея.

Он замер и даже дышать перестал.

Она покраснела:

— У меня мама всегда так температуру определяет,— и встала, чтобы уйти.

— Уже бросаешь меня одного? — взяв ее за руку, спросил Сергей.

Оля села опять, но надулась. Некоторое время они молчали, пока Сергей испуганно не сказал:

— Кажется, опять температура поднимается.— Он прижал ладонь ко лбу.— Попробуй,— попросил он.

— Ну тебя,— ответила Оля.

— Правда, может, «Скорую» вызывать надо.

Оля опять наклонилась, но теперь уже Сергей приподнялся и, обняв ее, поцеловал в губы.

Потом они целовались, пока в палату к Сергею не влетел Юра.

— О! — Он встал на пороге и улыбнулся.— Извините, что помешал.

Оля вскочила и убежала, а Сергей сказал:

— Ну, чего явился?!

— Ничего,— улыбнулся Юра,— просто пришел наведаться.

Вот с этих пор Олины визиты и перестали быть должностными. Теперь, когда Сергей болел (на занятиях она по-прежнему его почти не замечала, а, может, старалась замечать еще меньше), Оля приходила к нему, и они целовались до тех пор, пока не являлся стоявший «на стреме» Юрка:

— Ну, все! Все! — говорил он.— У меня тоже свои дела есть, я ухожу.

Вообще Сергей давно засматривался на Олю. Он долго помнил тот день, когда Оля перевязывала его,— шла первая сентябрьская неделя, и на улице была солнечная и теплая осень. После драки с шанхайцами Сергей сидел в комнате у девчонок, очень чистой и светлой, настоящей девчачьей комнате, и Оля ватой, намоченной в теплой воде, смывала ему кровь с лица.

— Бедненький, как же они тебя так? — спрашивала она.

— Драка есть драка,— по-мужски небрежно и чуть рисуясь, отвечал ей Сергей, а сам с замирающим сердцем ждал, когда она снова к нему притронется.

Он сидел на табуретке посередине комнаты, а Оля ходила вокруг и не очень умелыми, но ласковыми руками бинтовала голову.

Она касалась его спины, а когда, обходя Сергея, оказывалась у него перед глазами, он вздыхал, чтоб еще раз почувствовать нежный, какой-то весенний запах, вздыхал и распрямлялся, чтоб Оля хоть на сантиметр подняла руки и поднялось, оголяя крепкие ноги, ее короткое, слегка уже тесноватое ей, светлое платьице.

Он стал ухаживать за ней. Чтоб обратить на себя внимание, засунул скелету в рот папиросу, а в кабинете химии на гипсовый бюст Ломоносова повесил табличку с надписью «Ищу работу». Но на Олю это действовало мало, так же, как и его успехи в слесарном деле.

Лев Андреевич считал, что ни одну операцию, ни один из разделов программы нельзя отрабатывать на тренировочных деталях, а надо это делать только на выпуске товарной продукции. Так и ответственность выше, и деньги платят ученикам. Он всегда искал и находил заказы на предприятиях для своих ребят, но из-за этого и принимал изделия очень придирчиво.

Сергей выполнял самую высокую норму и хвастался Ольге. А она и тут говорила:

— Подумаешь...

После того, что произошло в изоляторе, он надеялся, все пойдет по-другому.

Он выздоровел и прямо на следующий день нашел Олю на перемене — она стояла в кругу подружек — и, чтобы выглядеть увереннее, сказал громко:

— Оль, мы сегодня с тобой на «Укрощение строптивой» идем.— Он засмеялся.— Поучительный фильм, я билеты купил.

Оля посмотрела на него удивленными, непонимающими глазами:

— Вот еще! С чего это ты взял, что я должна с тобой идти?

Сергею стало неловко и так стыдно, что он весь заалел и произнес тихим голосом:

— Почему должна? Я думал, может, тебе охота.

Оля усмехнулась, пожала плечами.

Девчонки, с интересом наблюдавшие за Сергеем, захихикали.

После этого Сергей неделю избегал Олю. Несколько раз он уже обещал себе: сегодня подойду, все, точно сегодня, но в последний момент вдруг чего-то пугался и опять откладывал на потом.

А когда увидел ее одну — искал Юру по всему общежитию, а в читальном зале смотрит: она сидит,— его как подтолкнул кто-то, подошел к ней.

— Пошли завтра в кафе, а, Оль?

Она взглянула на него, на его испуганное лицо и вдруг согласилась.

Сергей сразу же убежал, чтоб не раздумала.

...Они сидели в кафе, и у Сергея от сияния фужеров, от блеска скатертей, от их свежего запаха, от тепла и яркого света сделалось очень радостное и приподнятое настроение.

Это было настоящее свидание. Они с Олей вышли из училища порознь, встретились у обелиска Победы, погуляли и лишь после этого отправились пообедать.

Сергей стремительно съел цыпленка, которого принесли, и поглядел на Олю, возившуюся еще со своим лангетом. Потом заказал ей и себе мороженого.

Сергей с грустью смотрел на Олю.

«Сейчас съест,— думал он,— и все, надо будет идти домой».

Он повернулся и глянул в окно. Было еще светло, а возвращаться засветло никак не входило в планы Сергея. Он ждал темноты, надеясь, что они пойдут в парк, найдут заброшенную скамейку и, как тогда в изоляторе, будут целоваться, целоваться...

Он моментально прикончил три сладких, облитых вареньем шарика, подозвал официанта и сказал строго:

— Мне еще курицу.

Но официант, видно, не почувствовал строгости, улыбнулся Оле и произнес:

— Крепкий он у вас парень.

Оля тоже улыбнулась, а Сергей подумал про себя: «Не то, что ты, самому уже тысяча лет, а туда же, заигрывать».

Как ни сыт был Сергей, как ни медленно он жевал, а цыпленок все-таки кончился.

Сергей снова посмотрел в окно и увидел, что солнце будто повисло в небе.

Он опять кликнул официанта.

— Что, рассчитать? — Официант вынул блокнотик.

— Нет, нет! — перепугался Сергей, он продолжал улыбаться застывшей улыбкой.— Пожалуйста...— «Что же?» — мучительно думал он, и губы сами произнесли: — Пожалуйста, принесите мне еще курицу.

«Идиот, что я делаю!» — мелькнуло в голове.

Официант дернул бровями, чиркнул карандашом и пошел дальше.

Оля засмеялась:

— Сережа, ты что, тебе же нехорошо будет.

«Смеется, как дура,— надулся Сергей.— Из-за нее все, а она радуется». И с ужасом подумал, что у него может не хватить денег. «У нее денег занять? Застрелюсь лучше»,— решил он и продолжал молча сидеть, красный, как рак, и злой.

В это время официант поставил на стол третье по счету железное блюдо. На нем лежал такой же, как все остальные, аппетитный, румяный цыпленок,



посыпанный свежей зеленью, на которой блестели капельки воды.

От одного его вида Сергея стало мутить.

И вдруг он заметил, как входит в зал его сосед по лестничной клетке дядя Вася Рыбалов; с его сыном Сергей когда-то дружил.

Поднявшись из-за стола, он почти бегом кинулся наперерез дяде Васе.

Дядя Вася — высокий, полный, представительный мужчина — совершенно оторопел и вдруг так покраснел, что Сергею самому стало неловко.

Сергей перевел взгляд на спутницу дяди Васи, она чем-то неуловимо напоминала его жену, только была моложе, и произнес:

— Простите, дядя Вась, можно вас на несколько слов?

— Ниночка, проходите сюда,— дядя Вася устроил свою спутницу и вышел с Сергеем в холл.

— Понимаете, дядя Вась,—сказал Сергей,— в общем, одолжите мне десять рублей, а то я не рассчитал, а уже уходить пора.

Дядя Вася замялся, но потом вытащил из бумажника десять рублей.

— На, конечно. Как мужчина мужчине. Только я тебя прошу,— он понизил голос,— ты про то, что мы с тобой здесь повстречались, в общем, про то, что я не один был...

— А...— понимающе улыбнулся Сергей.— Могила,— добавил он и уже нагловато подмигнул старому знакомому.

Сережа вернулся за стол. Оля сидела надувшись.

— Ты что так долго?

— Да знакомого встретил,— ответил Сергей.— Что-нибудь еще хочешь?

— Да нет, уже пора, наверное.

— Сейчас пойдем, заплачу только.

— А курица?

— Да я на нее смотреть не могу,— ответил Сергей весело,— брал, чтоб тебя рассмешить.

— Ужасно умно,— сказала Оля, но улыбнулась.

Они шли по Новому городу. Стемнело, зажглись витрины, неоновые надписи, фонари, и улица стала намного теснее. Новый город был молодым городом, люди в нем жили совсем еще юные, и сейчас, вечером, почти все немного возбужденные, куда-то торопились, спешили, опаздывали или просто гуляли.

Сергей шел рядом с Олей, улыбался, глядя на Олю, и лишь об одном жалел: он не обнял ее сразу же, когда они вышли на улицу, а сейчас было как-то неловко ни с того ни с сего взять и положить ей руку на плечи.

Он набрал воздуха и начал что-то рассказывать Оле. Сергей и сам чувствовал, что рассказ его выглядит глупым, хвастливым, видел, что и Оля чувствует так же, но остановиться не мог.

— Какой ты все-таки еще ребенок,— произнесла Оля.

— Я ребенок? — Сергей засмеялся. Он вдруг остановился в потоке людей, притянул Олю к себе и поцеловал.— Вот,— сказал он.

— Во дают,— кто-то произнес сзади.

— Счастливые,— кто-то рядом засмеялся.

Оля улыбнулась, и Сергею вдруг стало легко-легко.

Потом долго все было так, как он и хотел.

Сергей в ту пору старался делать все лучше других. Хотя по специальности Оля с Сергеем занимались в различных группах, но все равно у Льва Андреевича, который, как правило, не скупился на похвалы, Сергей из кожи лез вон, чтобы и слухи до Оли доходили только хорошие. А если их группы случайно оказывались рядом на стройке, Сергей весь день работал собранно и красиво: а вдруг его Ольга увидит.

Правда, днем они редко общались, зато вечером встречались, шли куда-нибудь в парк или в кинотеатр и, не глядя на экран даже, целовались полтора часа напролет.

Вечером возвращались домой, и это были, может быть, самые счастливые для Сергея минуты. Он шел вместе с Олей вдоль общежития на глазах у всех, и все видели, что у них любовь.

А когда они опаздывали к отбою и Сергей входил в комнату, где уже спали, он обязательно, будто бы невзначай, налетал в темноте на стул или долго шебаршил в тумбочке, делая вид, что разыскивает мыльницу или зубную щетку. Ему хотелось всех посвятить в свое счастье.

6

Правда, полностью во все дела Сергея был посвящен только Юра. Когда они укладывались спать, Сергей поверял Юре свои сердечные тайны.

— Знаешь,— начинал он,— я когда рядом с ней сажусь, у меня прямо голова кружиться начинает.

Юра смеялся.

— Тебе не понять,— горько говорил Сергей,— ты не любил.

— Очень даже любил,— обижался Юра.

— Ну. не так, как я,— настаивал Сергей.— Я, когда училище кончу, жениться на ней хочу. Только вот надо, чтоб она из армии меня дождалась.

— А она что?

— Она согласна, только говорит, что тогда старая будет и станет уже не нужна мне, она ведь старше на год, ей-то уже больше семнадцати.

— А ты?

— А я что? Я люблю ее,— отвечал Сергей,— какая разница — старая, молодая.

Но даже и от Юры были у Сергея секреты. Он никогда и никому не говорил, что ужасно обижался на Олю, когда она не приходила к нему на свидание, а на следующий день лишь бросала коротко: «Была занята».

Затем рассказывал Юра: про сестренку и братьев, про родителей, про колхозного быка Академика, про свою собаку Южана.

А потом Сергей сам увидел все это: Юра пригласил его на каникулы, и Сергей поехал к нему в деревню.

Приняли его хорошо, ласково.

Правда, в первый момент у матери сделалось озабоченное лицо, когда она увидела, что приехал сын не один; но решив, что займет у соседки денег и сможет по-праздничному принять Юриного товарища, мать опять повеселела.

Каждое утро Наденька, младшая сестра Юры, приводила к ним в комнату Витьку и Петьку, которые были еще меньше ее, и заявляла:

— Начинаем наш радостный концерт!

«Радостный» она говорила вместо «праздничный» не потому, что путала, а потому что считала: праздник может продолжаться день, ну, два, как Первое мая, а раз Юрка будет дома неделю, его приезд должен быть назван как-нибудь по-другому.

Ребятам вставать не хотелось, и даже после Наденькиных слов глаза они не открывали, но малышей это совсем не смущало, и они настойчиво читали стихи, загадывали загадки, которые сами отгадывали, и на три голоса пели: «Я ждала и верила.

сердцу вопреки». Больше всех старалась Надька. Она за эти несколько дней безнадежно влюбилась в Сергея и, если ребята куда-нибудь собирались уходить, брала Сергея за руку и, не глядя на него, смущаясь, спрашивала:

— Я с тобой?

Сергей был покорен. Он повсюду таскал ее за собой: на улицу, в магазин, в клуб, а деревенским девчонкам, с которыми подружился здесь, говорил:

— Знакомьтесь, моя невеста.

Надька краснела. И ревновала.

Так впятером они и провели каникулы: Юра, Сергей, Наденька, Витька и Петька. Родителей почти и не видели. Мать прибегала только в обед, чтобы накормить их и приготовить что-нибудь на завтра, а отец приходил под вечер усталый.

В последнюю ночь Сергей проснулся оттого, что в комнате кто-то шептался. Он не повернулся, но понял, что мать и отец сидят на кровати у Юры.

— Да все у меня в порядке, мам, и одет, и обут, и каждый день мясо.— Сергей почувствовал, что Юра улыбается.

— А чего ж похудел так?

— Я, наверное, расту, мамань.

— А не болеешь?

— Да только раз. Простудился. Но всего три дня пролежал.

— Лучше бы я здесь вместо тебя заболела.

— Тебе своих хворей мало,— заворчал отец.

— Так он там один, а я здесь с вами.

— Что ты, мамань, там врачи, и ребята ко мне приходили.

— Ты смотри, сейчас берегись, весной-то простыть легче всего.

— Хорошо.

— И холодного не пей ничего.

— Ладно.

— Учителям не груби.

— Ладно. — Юра опять засмеялся.

А Сергей слушал, слушал этот шепот и вдруг расплакался. Он уткнулся в подушку и еле сдерживался, чтоб не зареветь во весь голос.

На следующий день ребята уехали, и вскоре их дружба пошла на убыль.

После возвращения в училище праздновали встречу, вернее сказать, отмечали каникулы, коллективно поедая гостинцы, которые ребята привезли из дома: пироги, жареных куриц, варенье — все уничтожали зараз, делясь друг с другом едой и впечатлениями.

Кто-то спросил и Юру, как он съездил.

— Ничего,— улыбнулся он,— вон пусть Серега расскажет, мы вместе были,— ответил Юра в полной уверенности, что Сергей сейчас начнет расхваливать его дом.

— Ничего,— подтвердил Сергей,— утром просыпаешься от того, что по тебе дети ползают,—он засмеялся, и за ним ребята.— Их там куча, мал мала меньше, немытые и нечесаные. Но Горюн управляется с ними, как хорошая нянька.— Сергей похлопал Юру по плечу.— Один как-то в лужу упал, барахтается, точно поросенок, хрюкает...

Ребята загоготали.

— ...так он его вытащил, нос вытер, штаны постирал. Ему б на воспитательницу детских садов учиться, а он почему-то на слесаря.

— Ты!.. Ты!..— закричал Юра.— Ты про своих рассказывай, а моих не трогай.

— А чего мне про своих рассказывать,— не глядя на Юру, ответил Сергей.— Я у своих родителей один. Это твоя маманя решила по рождаемости Китай обогнать...

Ребята опять засмеялись.

— ...а теперь вас расшвыривает по белу свету... Тебя сюда... еще кто-нибудь подрастет, его туда..

— А ты!..— Юра захлебывался от обиды и возмущения таким предательством.— Ты от своей сам сбежал!

Сергей резко повернулся к нему.

— Это не твое дело!

— А ты мою маманю не трогай, она не твое дело!

Юра заревел и хотел броситься на Сергея, но потом повернулся и убежал из комнаты прочь.

— Гад ты, Серега,— сказал Князь и вышел за Юрой.

— Да никто ее и не трогает,—закричал Сергей Юре вслед. Ему стало неловко, он поглядел на притихших ребят и добавил: — Рева.

Ребята посидели некоторое время, потом тоже поднялись и ушли. Все. Молча. А чего говорить, и так все понятно.

Сергей уже раскаивался. В довершение к тому, что он поссорился с Олей, теперь поругался и с другом. Вернее, с Олей он даже не поссорился, а просто встретил ее на улице не одну.

Вчера он стоял у «Марса» (в Новом городе было два больших кинотеатра и оба почему-то с космическими названиями: «Марс» и «Сатурн») и раздумывал, пойти поглядеть картину сейчас одному или как-нибудь в другой раз, но зато с Ольгой. Кинотеатр построили на пригорке, и к нему вела длинная широкая гранитная лестница. Сергей стоял на самом верху и сначала заметил, как над одним из лестничных маршей появилась красная пушистая шапочка. Он непроизвольно отметил про себя: «В точности, как у Ольги». И тут увидел раскрасневшееся от быстрой ходьбы Олино лицо. «Сейчас ее напугаю».

Оля глядела в его сторону и улыбалась.

«Видит меня, что ли?» — подумал Сергей и улыбнулся тоже.

По лестнице спускался навстречу Оле какой-то высокий парень в синей куртке.

«Если сейчас к ней клеиться будет,— решил Сергей,— дам по рогам». Он оттолкнулся спиной от стены и сжал кулаки.

Парень подошел к Оле, закрыл ее собой, наклонился, не то поцеловал, не то сказал ей что-то, она взяла его под руку, и они двинулись вверх, оба сияющие, довольные, ничего не видя вокруг. Так и прошли мимо Сергея, даже не поглядев на него, хоть он и не отошел от дверей.

У Сергея внутри все онемело, как от испуга.

Он еле дождался вечера. Постучался к Оле в комнату:

— Оль, выдь на минутку, поговорить надо.

Оля вышла.

— Я тебя сегодня в городе видел у кинотеатра.— И пристально посмотрел на нее.

— Да? А я тебя не заметила.

— Откуда ты этого парня знаешь? — накинулся на нее Сергей.— Он же с Шанхая.

— Ну и что? — спросила Оля.

— Мы с ними деремся!

— И мне, что ли, прикажешь драться? — Оля пожала плечами и ушла в комнату.

...И вот теперь в довершение ко всему разлад с Юркой.

С этого дня они перестали разговаривать друг с другом, а еще через день Юра обменялся кроватью с Колей, чтобы не спать рядом с Сергеем.

И ребята от Сергея отвернулись. Не то, чтобы кто-нибудь прямо высказывал ему свое неодобрение, нет, просто все время был он один.

«И без вас обойдусь,— со злобой подумал Сергей,— надоели вы все мне!» И решил лечь в изолятор.

Как раз тогда Александра Петровна, врач их училища, вышла на пенсию, а вместо нее пришел совсем молодой доктор Андрей Николаевич.

Вот к нему-то явился Сергей и сказал, что у него болит горло. Андрей Николаевич посмотрел его, ответил, что горло в порядке, но на всякий случай попросил измерить температуру.

Градусник показал тридцать девять и семь, Андрей Николаевич решил, что нужно срочно в постель, побольше пить теплого, полоскать горло.

— А лекарство тебе принесет Вера Сергеевна.— Врач кивнул на сестру.— Только сними рубашку, сначала я тебя послушать хочу.

Когда Сергей принялся раздеваться, у него выпал и, стукнувшись об пол, разбился пузырек с горячей водой.

После того, как Андрей Николаевич выгнал Сергея, медсестра Вера Сергеевна сказала:

— Он вообще-то парень здоровый, но у нас все время лежал; Александра Петровна его клала, пусть, говорит, полежит, если хочется поболеть, совсем ведь еще ребенок.

— Ребенок! — язвительно повторил тогда молодой доктор. Но никому не пожаловался.

Он пошел к замполиту только после того, как Сергей в третий раз потребовал уложить его в изолятор.

— Это просто-таки форменный симулянт,— заявил врач Василию Афанасьевичу,— совершенно здоровый, но все требует, а между прочим в последний раз еще и грозился, ты, говорит, смотри, осторожней по вечерам ходи.

Коваль решил тогда пристыдить Сергея публично. Он оставил всех после уроков:

— Сегодня мы устроим с вами собрание.

— У-у-у! — загудел класс.

— Тихо, тихо, успокойтесь. На повестке дня у нас только один вопрос: симуляция Сергея Волкова.

Все замолчали и уставились на Сергея. А он в ответ лишь улыбался: ведь умение отлынивать от работы ребята считают доблестью. Замполит напрасно бушевал:

— Ты ж, как Обломов, себя готов в четырех стенах запереть, только бы ничего не делать! И угрозы свои тоже оставь. Ты доиграешься! Дальше из училища тебе идти некуда, либо человеком становиться, либо..

Сергей улыбался.

Потом выступал актив класса, потом — как комсорг — Оля. Сергея они, конечно, стыдили. Когда замполит хотел уже закрыть собрание, слова попросил Юра. Он не был в классе лицом общественным, и все поняли, что выступление это внеплановое.

Ему закричали:

— Куда ты лезешь?

— С ума сошел, есть хотим!

Только замполит обрадовался:

— Ну-ка, ну-ка, скажи нам, что ты думаешь по этому поводу как бывший друг.

— Понимаете...— Юра хотел помириться с товарищем и надеялся, Сергей это поймет.— Он не симулянт...

— А кто же?—удивился его словам замполит.

— Вот когда он лежал в изоляторе, мы туда к нему все ходили. Ребята почти каждый день...— Юра посмотрел на Олю, и она покраснела.

— Ну и что ж? — не понял Василий Афанасьевич.

— А то,— сказал Юра,— вы не глядите, что он такой заносчивый, это только с виду.— Юра, хоть и собрался мириться с Сергеем, но совсем ему простить своей обиды не мог.— Он только с виду такой независимый. И в изолятор он шел болеть ради внимания и ласки, а совсем не потому, что он симулянт какой-нибудь.

Все в классе затихли и уставились на Сергея. Он сидел за партой, сжав кулаки, потом подошел к Юре и, глядя ему в лицо бешеными белыми глазами, прошипел, почти не разжимая губ:

— Ну, гад, попомнишь! — вышел из класса и хлопнул дверью.

Так кончилось собрание, но позднее Василий Афанасьевич часто думал о нем. Он гнал от себя эти воспоминания, потому что они вызывали чувство недоумения и какой-то вины.

Когда слова попросил Юра, Василий Афанасьевич ждал от него правильного, прямого выступления. Перед Юрой столько народа уже говорило, что, слава богу, ему было с кого взять пример.

А он полез со своей психологией...

И вот мучайся теперь, будто что-то не понял, будто других дел нету.

Да и Сергей выскочил тогда из класса с таким лицом, что Василий Афанасьевич решил: излупит он сегодня Юрку, как сидорову козу, излупит. Он даже Зине велел присмотреть за ними.

А в милиции сейчас через стену сидят друг от друга. И что же получается? Враги, а дрались, выходит, вместе.

И после собрания история произошла непонятная.

«Горюнов тихий ведь парень был,— думал Василий Афанасьевич.— И нá тебе...»

Со старым товарищем Юра не помирился, новых не приобрел, замполит его тоже не похвалил за то выступление на собрании, и потому Юра после уроков расплакался, раскричался. Тоска, рожденная одиночеством, часто ломает и более сильных людей.

— Ненавижу вас всех! — вопил он и отбивался от мастера, из рук которого не мог вырваться, как ни старался; Лев Андреевич тащил его в кабинет к замполиту.— Не Лев вы, а крокодил несчастный!..

— Ты что ревешь, как девчонка!— Василий Афанасьевич стукнул ладонью по столу.

— С горя!

— Какое горе у тебя?! Какое горе?! Ты подумай, как ты завтра Льву Андреевичу в глаза посмотришь!

— А я и смотреть не буду.

— Знаете что, Лев Андреевич,— Василий Афанасьевич посмотрел на мастера,— если он сейчас, здесь, сию минуту перед вами не извинится и мне не поклянется, письменно не пообещает, что больше этого буйства не повторится, мы сейчас с вами напишем письмо и отправим его в колхоз. Пусть там все знают, какой сынок у его родителей.— Коваль замолчал.

Молчал и Юра.

— Ну? — сказал замполит.

Юра всхлипнул и махнул рукой.

— Отправляйте... Извиниться я, конечно, могу.— Он повернулся к Льву Андреевичу: — Извиняюсь. Но вот писать я ничего не буду.

— И его мать придется вызвать,— добавил Василий Афанасьевич.

— Нет, матери нельзя волноваться: она больна очень. Вызывайте отца.

— А я вызову.

— Ну, прошу же, не надо.

— Мало ли, что просишь. Я тоже прошу тебя, ты ж не слушаешься.

— Ну, я больше не буду.

— Без «ну».
— Больше не буду, правда.
— Садись, пиши объяснительную.
Юра сел к столу и взял ручку.

Так бы эта история и закончилась, и забыли бы все про нее, и Юрину мать не вызвали, если бы на следующий день он не столкнулся в парке с Зинаидой Дмитриевной, самой молодой и потому еще самой старательной воспитательницей их общежития.

Юра шел по аллее в обнимку с девчонкой из техникума, с которой познакомился только сегодня. Вообще-то он видел ее и раньше, она была из соседней с Юрой деревни, но о том, что Юра это знал, она не догадывалась. Поэтому он развлекал ее телепатией и рассказами, будто он горнолыжник и мотогонщик.

Зинаида Дмитриевна увидела их уже у самого выхода. И хоть стояла весна и сама Зинаида Дмитриевна прогуливалась тоже не в одиночестве, она не поленилась бросить своего спутника, подошла к Юре и начала стыдить его.

— Ты что здесь делаешь? Ты давно должен уже спать! — показывая на часы, говорила она.

Девчонка насмешливо смотрела на Юру.

Ну, что он мог сделать после рассказов о горных трассах и об опаснейшем, сугубо мужском труде гонщика?

— Вас вон хахаль ждет,— ответил он воспитательнице,— и ваш рабочий день давно кончился.

Понятно, что этот случай Зинаида Дмитриевна на следующий день довела до сведения замполита. И вместе они решили, чтобы все же заставить Юру вести себя, как следует, вызвать его родителей.

— Отправьте им телеграмму,— сказал Коваль,— только такую отправьте, чтобы явились.

И Зинаида Дмитриевна написала Горюновым в деревню: «Срочно выезжайте, Юра в плохом состоянии».

...И когда все уже кончилось — после того, как Юру ночью поймали в актовом зале, где он исступленно, но тихо, с сердцем, переполненным ненавистью, портил все, что под руку попадалось: новые стулья, вспарывая им красную дерматиновую обивку, занавес на сцене, кресла,— уже после этого на педсовете кто-то сказал: «А телеграмму-то дали такую, что мертвый приедет».

Тогда по ней приехали мать, отец и даже семидесятилетняя бабушка.

Они сидели у замполита и слушали, как ругают Юру.

Отец и бабка молчали, только мать тихонечко причитала, покачиваясь в такт своим словам.

— Половину жизни у меня отнял. С утра в рот ничего не взяла. Батюшки, батюшки, что же он сделал со мною, я его так ждала, и с хорошими вестями...— Красивое, но изможденное лицо ее горело, и она продолжала ругать сына, но не из-за обиды, а в надежде, что, может, тогда ему меньше достанется от замполита, мастера и воспитательницы.

7

Служебное рвение Зины никого особенно не приводило в восторг. Но рвение осуждать не принято, и Зина старалась.

Она была из тех солдат, которые на первом году службы уже мечтают стать генералами, и понимала, что для продвижения вверх ей надо быть воспитателем лучше и старательнее всех остальных.

Нынешняя работа Зину устраивала: занята немного, отпуск большой, педагогический, и платят нормально. Зина обладала прекрасной нервной системой и, существуя по принципу «ничего близко к сердцу не принимай и не бери в голову», она в отличие от многих своих коллег из-за ребят не уставала.

«Если закончить какой-нибудь институт,— думала Зина,— можно и замполитом стать».

Зина была молодая, крепкая и очень уверенная в себе девица; рассказывая о работе, она откровенно и искренне говорила: «Да, я люблю учить и думаю, у меня есть чему научиться. Иначе зачем бы меня назначили воспитателем?»

Многие немели от таких заявлений, например, Василий Афанасьевич. Не мог же он, в самом деле, Зине сказать, что назначил ее на эту работу потому, что на такую должность и на такой оклад просто больше никого не нашел.

Зину Василий Афанасьевич не понимал. Воспитатели работали в училище после того, как у ребят кончались занятия, и на должность эту шли обычно семейные женщины, которым днем необходимо было успеть приготовить обед, прибрать дома и накормить детей. А вот почему Зина решилась на то, чтобы проводить все вечера на службе, то есть как раз то время, когда ее сверстницы сбивали ноги на танцах, было непонятно.

«Работы в городе хоть отбавляй,— думал Василий Афанасьевич,— наверное, вкалывать неохота, вот и пошла к нам: сиди себе с трех до десяти за столом, следи за порядком». Но, конечно, молчал. Ему вообще часто приходилось молчать, даже если говорить хотелось.

Например, когда Юрина мать, перепуганная рассказом воспитателей и педагогов о том, какой ее сын безобразник, спросила с тихим укором: «Куда же вы все глядели?» — одна Зина нашлась, что ей ответить.

«У вас он, мамаша, один,— произнесла она,— а у нас у каждой таких сорок». Зина значительно подняла палец.

Вот тогда Василий Афанасьевич, немолодой уже человек, покраснел даже и опустил глаза. «Дура, дура,— подумал он,— выноси сначала хоть одного». Но, конечно, опять промолчал.

А что он ей мог сказать?

Желание когда-нибудь в отдаленном будущем стать замполитом вовсе не было той основной причиной, которая сегодня властно заставила Зину пойти работать в училище.

Причина была конкретней и проще: воспитателю в училище выделяли комнату.

Два года назад Зина приехала на ударную комсомольскую стройку за счастьем, за новой и светлой жизнью. Дома у нее остались отец, мать и Виктор, которого она категорически запретила себе вспоминать.

Виктор собирался на Зине жениться, но потом раздумал.

Отец Зины был мягкий пожилой человек, который так обиделся за единственную и любимую дочь, что месяц пролежал с гипертоническим кризом. А потом, когда встал, все же полностью не оправился от потрясения и всем знакомым задавал один и тот же вопрос: «Как же так можно поступать с человеком, когда он уже отдал тебе всего себя?»

Зина плакала, кричала: «Папа! Ты сошел с ума!» Но остановить отца не могла. Город был маленький, и риторических вопросов отца вполне хватило, чтобы там, где появлялась Зина, пацаны начинали бацать по своим гитарам и петь: «Ах, Витек, Витек, Витек, наигрался и утек».

А дома... Еще тогда, когда Виктор пропал, мать

сказала Зине: «Что ж ты, растяпа? Кто же так делает? Теперь все, из дома чтоб ни на шаг. На глазах женихайся». И Зину перестали куда-либо выпускать. А если она задерживалась на службе — работала она на почте, — мать устраивала ей скандал.

Однажды Зина привела домой нового парня. Отец молчал, но после этого визита у него снова подскочило давление, и без врача опять не обошлось. Так что про жениховство все оказалось только словами.

Какое-то время Зине до того хотелось уйти из дома, что она была готова выйти замуж за кого угодно и, сидя за рабочим столом, улыбалась всем без исключения мужчинам, приходившим заказывать междугородные переговоры. А матери сказала: «Вы дождетесь, вот выскочу за какого-нибудь хромого, безногого, будете знать». «Сиди,— отвечала ей мать,— ты уже раз выскочила».

Но у Зины был крепкий характер, как раз в маму. И однажды она принесла домой и гордо положила на стол комсомольскую путевку. Дома покричали, поплакали, но делать нечего, дочку собрали и отпустили.

Зина уезжала в Новый город, в строительное управление.

Поселили ее в общежитии с еще тремя такими девчонками, как она. Делай, что хочешь, с кем хочешь гуляй.

Все Зине нравилось поначалу, только два желания у нее было: мечтала она о хорошей работе и о замужестве.

Хотелось, чтоб муж был красивым и добрым парнем, хотелось пройтись с ним по родной улице, неторопливо, чтоб доказать соседям, чтоб матери доказать, отца порадовать, а главное, так хотелось самой быть счастливой...

Но теперь Зина решила, что станет она во много раз осторожнее.

Через несколько месяцев ее даже прозвали «Меня не надуешь». Она тогда работала штукатуром на стройке, и вместе с нею трудились, а значит, и жили в одном общежитии ребята, ее сверстники, парни горячие и влюбчивые. Но каждому из них, начинавшему уговоры, Зина заявляла определенно:

— Меня не надуешь. Сначала поженимся, потом все остальное.

Жениться почему-то они не хотели, хотели еще погулять.

Правда, один парень, звали его Кирилл Елисеев, ответил:

— Жениться? Вообще-то я не против. Только чего ты спешишь так, жить-то мы где будем? Надо сначала комнату получить.

Потом Зине казалось, что Кирилл ей еще раньше понравился, но на самом деле она на него серьезно-то обратила внимание лишь после этих слов. Зато подействовали они, как волшебное заклинание.

Одно огорчало Зину: город лишь начинал строиться, и поэтому Зина стала искать работу, где могли сразу же дать жилье. Повезло ей довольно быстро. Так Зина попала в училище.

«Молодая, энергичная,— глядя на нее, думал Василий Афанасьевич,— и профессия у нее строительная, значит, опять же по профилю нам».

В первый же вечер Зина позвала в гости Кирилла, вернее, просто он перевозил ее вместе с пожитками из общежития на квартиру.

— Вот,— сказала Зина,— теперь у меня комната есть.

— Да,— сказал Кирилл,— хорошая.

— Комната есть у меня,— повторила Зина.

— Ага, классная,—подтвердил Кирилл, оглядываясь вокруг.

Комната была большая, пустая и немного гулкая.

— Я теперь, как невеста с коровой,— сказала Зина и попыталась улыбнуться.

— Как это? — удивился Кирилл.

— После войны самые лучшие невесты считались — мне отец рассказывал — те, которые держали коров. Есть было нечего, а тут всегда молоко, масло.— Зина вдруг покраснела.

— А-а. Ну, и что? — Кирилл так ничего и не понял.

— Когда заявление пойдем подавать? — вдруг решительно произнесла Зина.

— Ты что! — сказал Кирилл.—Вот летом съездим к моим родителям, потом к твоим, тогда и поженимся.

— А чего до лета ждать?

— Ну, знаешь, я и так их бросил.— Кирилл улыбнулся и обнял Зину, показывая, что совсем не отказывается от своих прежних намерений.—А теперь, если и невесту свою не покажу, вообще будет обида на всю жизнь.

Вот поэтому Зина так дорожила своей работой. Работа давала комнату, а комната была гарантией будущей счастливой жизни. И Зина служила старательно и честно. Иногда даже старательнее, чем надо.

8

Однажды вечером Зина сидела у себя на этаже и читала. Время подходило к концу, но ребята в тот день были взбудоражены, и Зина подумала, что сегодня их будет трудно уложить спать. С утра у них прошла контрольная по специальности.

Контрольную сдать в училище — дело ответственное и непростое. Лев Андреевич, например, подходил к контрольной работе на редкость строго.

— В наше время на предприятиях и стройках,— говорил он ребятам,— технологические процессы усложняются с каждым годом и требования к рабочим, то есть к вам, постоянно растут... Контрольная работа — это модель трудового дня, только сдаете вы ее в своей мастерской,— объяснял мастер.

Понятно, что контрольную работу делали не час и не два. «Перекуры», болтовню Лев Андреевич ребятам не запрещал, но просто все это шло в ущерб норме, а значит, оценке, потому что главными критериями были норма и качество готовых деталей.

Оценки контрольных работ влияли на квалификационный разряд, так что никого из ребят не надо было заставлять относиться к контрольной серьезно. Но после нее хотелось расслабиться.

Поэтому в то Зинино дежурство девчонки, как первоклашки, играли в салочки, с лестничной клетки доносились взрывы хохота, а в другом конце коридора Голицын фехтовал бильярдным кием один против троих.

Зина периодически отрывала глаза от книги, чтобы сделать ему замечание, и вдруг увидела, как к себе в комнату вошла Лена Кондратьева, а за ней проскользнул незаметно ее приятель и одноклассник Володя Трунов.

Зина опять принялась читать и подумала, улыбаясь: «Какие они, в сущности, все еще маленькие».

Она читала, все время поглядывая на дверь комнаты, но из нее никто не выходил.

Зина еще подождала немного, а потом подумала: «Да что это такое, что они там, совсем обалдели?» Она поднялась, прошла по коридору и у самой двери прибавила шагу, чтобы в комнату просто вле-

теть. Она представила, как смутятся Володя и Лена, и поделом им, решила она. Зина нажала на ручку и подалась всем телом вперед.

Дверь была заперта.

«Ага,— подумала Зина и посмотрела вниз: из-под двери бил свет.— Слава богу, хоть лампу не выключили».

Она приложилась ухом к двери, там было тихо, но Зина могла поклясться, что в комнате кто-то есть.

Зина набрала воздуха и согнутым пальцем забарабанила в дверь.

— Кондратьева, а ну, открой сию же минуту!

Она перестала стучать так же внезапно, как начала, и снова прислушалась.

В комнате будто бы затаились.

— Кондратьева! — Зина принялась дергать ручку и не услышала, как к ней подошла Вера Павловна, воспитательница с третьего этажа.

— Зин, у тебя кнопки есть? — спросила она.— Чего это ты тут?

— Да вот одна тут моя, Кондратьева, провела к себе приятеля!

— Ну и что? — спросила Вера Павловна.

— И заперлась... А завтра эта запрется, или вот эта, или вот он.— Зину уже окружили ребята, и она с раздражением кивала на них.— Нет у меня кнопок, Вера Павловна, кончились.

Вера Павловна пошла обратно к себе. А Зина, разозленная, что теперь об этом случае узнал еще один человек и, значит, завтра про все нужно будет докладывать у замполита на пятиминутке, с новой силой принялась стучать в дверь.

— Кондратьева, нахалка, ведь все равно когда-нибудь выходить придется,— кричала она в закрытую дверь.

Ребят становилось все больше, приходили поглазеть с других этажей.

— Ты бы, бесстыжая, прежде дождалась загса, а потом уже парней водила!

— А давайте женим на ней Володьку,— предложил Голицын.

— Перестаньте паясничать! — потребовала Зинаида.— Надя! — крикнула она.— Надя!

— Да,— вперед вышла Надя Бакулина.

Недавно ее выбрали старостой этажа, и Надя входила в Зинин актив. Это была бледная, некрасивая девочка, которая очень дорожила хорошими отношениями с воспитательницей: больше ведь друга не было.

— Иди к коменданту,— сказала Зина,— и попроси его подняться сюда со связкой ключей. Объясни ему все, и пускай придет или тебе их отдаст.

Зина послала именно Надю, потому что знала: пошли кого-нибудь другого, так он коменданта будет искать два дня.

А тут комендант пришел через пять минут. Он пытался подобрать к комнате ключ, а Зина — не то желая его психологически подготовить (бог его знает, какую ему сцену придется наблюдать в комнате), не то потому, что он был доверенным лицом замполита, рассказывала про Кондратьеву:

— Она такая странная стала, мне на нее и библиотекарша жаловалась, все просит какие-то книги особые, то Мопассана, то о супружестве новую книгу...— Зина считала, что комендант поймет, на что она намекает.— Ужасно странная. Ну, что там? — спросила она нетерпеливо.

— Сейчас, сейчас,— ответил комендант, поднажал на ключ, и дверь отворилась.

Комната была пуста. Зина заглянула под кровать, в гардероб, но и там никого не было.

— Так,— сказал она,— тем хуже.

Больше всего на свете Зина боялась ответственности. А вот Лев не боялся.

Когда он с ребятами на практике работал в доме, где оборудование полностью монтировала его бригада, вода вдруг прорвала трубу. Ничего страшного не случилось, но все всполошились, потому что дом был закреплен за училищем и уже готовился к сдаче.

В тот день оставались в нем только сантехники и девчата-отделочницы, вместе с которыми и Оля подметала полы и протирала окна.

Вода за считанные минуты затопила большой подвал. Легкий пар курился над подвальными окнами.

Лев Андреевич поставил две помпы, но они лишь удерживали постоянный уровень — все равно очень высокий.

— Голицын! — позвал Лев.— Голицын!

— Да! — подлетел тот.

— Сейчас побежишь в центральную котельную, она на улице Фучика, пятая остановка отсюда, знаешь?

— Знаю.

— И скажешь, чтоб нам перекрыли воду.

— Позвонить, что ль, нельзя?

— Я телефона не знаю. Здесь и автомата во всей округе нет — новый район.

— Ну, почему Голицын? — накинулся на Льва Андреевича Сергей.— Давайте я сбегаю.

— Да он же лучший спортсмен у нас,— ответил мастер,— поспеет быстрее всех. Давай.— Он подтолкнул Голицына и с удивлением посмотрел на Сергея.

В последнее время Сергей опять, как раньше, спустя рукава относился к работе. Бурчал: «Кому нужна эта сантехника, я на бульдозериста учиться хочу или на шофера». Сергей не бузил, не мешал заниматься другим, а просто был какой-то вареный. Оттого-то Льва Андреевича и удивили его слова. Но потом он случайно наткнулся взглядом на Олю (несколько девчонок спустились вниз про все разузнать) и понял, в чем дело.

Сергей опять подошел к нему.

— Лев Андреевич,— он просто умолял мастера,— ну, дайте я вам людей подберу! Мы подплывем и перекроем центральный вентиль.

— Ты что? Вода же горячая.

— Ну, не кипяток же! — Сергея всего трясло.

— Это здесь она остывает, а у прорыва?

— Да ничего.

Лев Андреевич про себя улыбнулся, еще раз незаметно глянул на Олю. Он понял: парню необходимо совершить подвиг.

— Давай,— разрешил Лев.

— За мной! — закричал Сергей и прямо в одежде стал спускаться в подвал.— Колька, Васька,— он на секунду остановился,— ключи возьмите.

Ребята еще ныряли, пытаясь под водой найти магистральный вентиль, когда появился Голицын. Лев Андреевич поспешил навстречу к нему и быстро увел в сторону — во двор соседнего дома.

— Ну что?

— Перекрыли.

— Ага, спасибо. Только вот я тебя о чем попрошу. Ты, пока ребята все не закончат, не появляйся там.

Голицын недоуменно посмотрел на мастера.

— Ну, не зря ж они парились,— объяснил он.

Парень засмеялся:

— Ладно.

Когда Лев Андреевич вернулся обратно к подвалу, ребята уже сидели на газоне перед подъездом. Их окружили друзья, а они грелись на солнышке, небрежно развалившись. На них были большущие,

чьи-то чужие, но зато сухие комбинезоны, а собственную одежду, уже выжатую, они разбросали на травке и слегка лениво, будто о чем-то совсем обыденном, рассказывали, что плавали и ныряли, конечно же, в кромешной тьме, и до последнего момента струя громаднейшей силы отбрасывала их от прорыва.

— В общем, как на подводной лодке во время аварии,— говорил Сергей.— Порядок, Лев Андреевич,— доложил он мастеру,— можете быть спокойны, там кран скорей всего сорвало, сейчас откачаем воду, точно узнаем. Всех дел, наверное, минут на десять.

— Ладно.— Лев нашел взглядом Олю, она стояла чуть в стороне, и сказал громко, чтоб и ей было слышно: — Большущее вам спасибо, ребята, вы справились с трудным делом, молодцы. Ну что, Сережа,— Лев улыбнулся,— теперь понимаешь, какая у нас ответственная работа?

— Главней всех на свете,— шутливо, в тон педагогу ответил Сергей.

Лев, конечно же, мог не пускать ребят вниз. Еще воды наглотаются, еще простудятся, когда вылезут, а ведь за все отвечать ему. Но Льву так важно было услышать: «Наше дело главней всех на свете»,— поэтому он считал: поступил правильно.

А вот Зина постоянно твердила: «Они накуролесят, а я расхлебывай»,— вечно опасалась чего-то.

Но предупредить все, конечно же, невозможно.

Однажды Оля несколько дней отсутствовала в училище.

Случилось это после того, как Зинаида воевала с закрытой дверью. И поэтому Зина некоторое время делала вид, будто не замечает, что Олина койка пустует. А как она могла заметить? После вызова Юриной матери все педагоги смотрели на нее косо. Из-за истории с пустой комнатой ребята над ней потешались.

Но и не это было самое страшное. Самое страшное то, что сказал Коваль. «Вы,— произнес он тогда,— подрываете уважение к должности воспитателя!»

Как она могла после всего еще и заявить, что у нее пропала воспитанница?

Поэтому только после того, как три дня Ольга не появлялась ни утром на занятиях, ни вечером в общежитии, Зина наконец набралась храбрости и отправилась в кабинет к замполиту.

— Светловой,— сказала она ему, точно жалуясь,— третий день нет в училище.

— Кто это такая, Светлова? — удивленно спросил Василий Афанасьевич.

— Учащаяся из моей группы.

— Ну, и где же она?

Зинаида Дмитриевна пожала плечами.

— А зачем вы ко мне явились?

— Чтобы сказать.

— Что сказать?

— Что Светлова в общежитии не ночует.

— Так где же она у вас, черт побери,— закричал замполит,— ночует?! И где вы были эти три дня, вы, ее воспитатель?!

— Я думала, она придет.

— Вы соображаете или нет, что вы здесь говорите? Случись с ней что-нибудь, вас ведь под суд отдадут! Вы себе это отчетливо представляете?

— Отчетливо.

— «Отчетливо»,— передразнил Зину Коваль.— В больницу звонили?

— В больницу не поступала.

— А в милицию?

— Когда у них кто-нибудь наш, они сами сообщают.

— Ну, и как вы себе все это мыслите?

Зина опять пожала плечами.

— А что говорят подружки ее?

— Говорят, у нее появился парень.

— Парень,— сказал Василий Афанасьевич,— вам везде мерещутся парни. Вы молите бога, чтоб это действительно был парень, а не стряслось с ней что-нибудь...

Но с Олей ничего не стряслось. Вечером того же дня она вернулась в училище и, когда Зина ее спросила, где она была, ответила просто:

— Дома. Домой ездила.

— Не ври, тебя дома не было.

— Ну, правда ж, дома, соскучилась очень, а вы б все равно не отпустили, потому я без спроса...

— Не ври, я домой звонила.

— У нас нет телефона.

— Во-первых, для междугородного разговора можно вызвать по уведомлению на почту, а во-вторых, я звонила тетке твоей на фабрику, ты Лене Козловой говорила, что в вашем городе у тебя тетка работает на текстильной фабрике, мне там ее разыскали.

Оля поджала губы и молча отвернулась от Зины.

— Ты имей в виду, тебя ведь отчислить хотят.

Оля быстро посмотрела на воспитательницу и опять отвернулась.

— А не скажешь, где была, наверняка отчислят. Кому охота отвечать неизвестно за что? Завтра ты возьмешь и на неделю исчезнешь, а потом на месяц. Замполит рвет и мечет, еле уговорила его сначала разрешить с тобой побеседовать. А раз ты молчишь, отправляйся-ка действительно лучше к маме: и ей спокойней и нам.

Оля еще ниже опустила голову и заплакала.

— Ты что, у парня была? — Зина почти участливо посмотрела на Олю.

Оля кивнула, не поднимая глаз.

— Ну вот,— радостно сказала Зина,— кто все-таки был прав?

Оля с удивлением уставилась на нее.

— Я, конечно, была права,— еще громче сказала Зина.— А ты, если ни о ком не думаешь, так хоть о себе подумай, если у тебя лялька появится, так кто лялькаться с нею будет? Может, думаешь, я?

Оля улыбнулась.

— Ты что улыбаешься, ты с ума сошла, что ли? Ты понимаешь, что я за тебя отвечаю? А если на самом деле ребенок будет? Имей в виду, ты если свои фортели не прекратишь и к парню своему не перестанешь ходить, я его под суд отдам. Ты еще малолетняя,— сказала Зина, обрадованная пришедшей ей в голову мыслью.

Оля опять заплакала.

— Какая же я малолетняя,— всхлипывая, сказала она.

— Тебе восемнадцати еще нет, по закону, значит, еще малолетняя. Как его фамилия? — Зина достала блокнот и карандаш.— Ухажера твоего?

— Не знаю.

— Ну, опять начинается.

— Я, правда, не знаю. Как зовут, знаю, а фамилию — нет.

— Ну, знаешь что,— разозлилась Зина,— вот тебе ручка, вот бумага и пиши замполиту объяснительную, все как было, и, когда будешь писать, помни: если и его обманешь, он тебя выгонит.

На следующее утро Зина стояла опять в кабинете у Василия Афанасьевича и, вынимая из папочки объяснительную, со скрытым торжеством говорила:

— Вот видите, я была права, все-таки парень.

— Вы были бы правы,— сказал замполит, принимая листок,— если бы у вас все дети на месте были.

Он надел очки и прочел:

«Василий Афанасьевич, я вам пишу всю правду. Шестого после занятий я хотела пойти в магазин. Возле общежития меня остановил незнакомый парень. Он спросил меня об одной девчонке. Я не знаю, кто она, но парень говорит, что сестра. Я сказала, чтоб он спросил у коменданта. Потом я пошла в магазин. На обратном пути его встретила. И он говорит, что спасибо вам за все. А потом говорит, давайте познакомимся, я — Коля. Я не хотела знакомиться, но сказала свое имя. На другой день он снова приехал. Он меня звал в кино. Я не согласилась. А потом говорит, поедемте в Новый город, я вам наш город покажу. Я не видела тогда еще Новый город и хотела посмотреть. По дороге он мне пел песни. В Новом городе мы всюду были, встретили его друзей. Они хотели мне показать свой дом. Я отказалась. Они меня не отпустили. Они живут в общежитии у кинотеатра. Мы пошли в комнату Коли. Парни играли на гитаре, а девушки пели. Потом танцевали. Я хотела уйти. Но они говорили: подожди, мы тебя сейчас проводим. Коля не отпустил меня. Потом все разошлись по комнатам. Я не успела выйти, Коля запер дверь. Я просила, чтоб он отпустил меня, что мне еще 17 лет. Он не обращал внимания. Я боялась, стала плакать, он не слушал. Но я больше не могу писать. Вы сами знаете, что потом. Вы говорили, вы как отец мне. Вот я и написала вам все. Я вас прошу, никому не рассказывайте, и оставьте меня здесь учиться. Я буду хорошо учиться, ни о чем не буду думать, кроме учебы. Я обещаю вам. Вы не думайте, что я плохая. Прошу, оставьте меня в училище. Мама хотела, чтоб я стала образованной. Она ничего не жалела для меня. Если вы меня выгоните, что я буду делать?».

Василий Афанасьевич прочел, и у него на минуту сжалось сердце.

— Сколько ее не было? — спросил он.

— Три дня.

— А где же она была?

— У него.

— Как у него? — испуганно переспросил Василий Афанасьевич.— Вы понимаете, что это значит?

— Что?

— Что мы можем скоро стать бабушкой с дедушкой!

Зина усмехнулась, желая показать, что она оценила юмор.

— Вы смеетесь?! Вы действительно не понимаете, что это, как минимум, выговор по партлинии мне, а вас просто со статьей уволят? Делайте что хотите, но ни на шаг ее от себя не отпускайте! Днем чтоб на занятиях была и, главное, ночью чтоб спала, где надо.

И Зина перестала отпускать от себя Олю. Днем проверяла ее уроки, а вечером не разрешала уходить из общежития.

9

Оля еще тогда улыбнулась, когда Зина сказала: «А кто с лялькой твоей лялькаться будет?»,— потому что вспомнила Ваню.

Она, напуганная тем, что его могут отдать под суд (он ведь, правда, старше меня, думала она), и тем, что ее разлучат с любимым (никого не выгоняют, а меня вот возьмут и выгонят), вела себя послушно и тихо. Оля от природы не была изворотлива и хитра, но все, что написала, придумала, ничего подобного не случалось ни с ней, ни с кем-нибудь из ее знакомых. Просто она инстинктивно решила: раз вина так велика (а она совершенно искренне считала, что виновата), извинить и спасти ее может только история совершенно невероятная. Она и Колю выдумала, чтоб никто не узнал про Ваню, и все остальное, чтоб Василий Афанасьевич ее пожалел и не очень сердился.

Она вспомнила Ваню, вспомнила, как лежала ночью, обняв его и глядя в окно вагончика — кровать была очень низкой, и она видела, как в холодном высоком небе сияет кованый серп луны, слушала, как шумит ветер. Оля еще теснее прижалась к Ивану и позвала его:

— Вань!..

— Что? — спросил он, не открывая глаз.

— А если ребеночек будет?

Она почувствовала, что он улыбается, и собралась обидеться.

— Воспитаем,— ответил он.

Она улыбнулась и тоже заснула.

Он еще ни разу не звал ее замуж, говорил только, что любит, но замуж не звал, а теперь она поняла: придет время, они поженятся, и все будет так хорошо, так хорошо, что и представить себе невозможно.

Познакомились Оля с Иваном светлым осенним вечером, когда многие девчонки училища собирались на танцы. Было тепло и душно, как перед грозой. Выходя из общежития, все спешили в сторону парка, доносившейся музыки, в сторону, откуда тянуло сырым и свежим дыханием деревьев.

Шанхайцы стояли полукольцом перед входом и со смехом приставали к девчонкам.

Ребята и девушки из училища никогда не ходили на танцы вместе. Девушки, в своих легких платьях, с замысловатыми прическами, как только оказывались там, где никто не знал, в каком они учатся классе, сразу превращались из девчонок в девушек и в молодых женщин, а парни — резкие, угловатые, грубые — как были подростками, так подростками и оставались.

Если бы сейчас ребят спросили, почему они не идут с девчонками, ответили бы по-разному, но почти каждый из них подумал одно и то же: была охота, чтоб мне по шее дали на глазах у девчонки.

И поэтому, когда Оля выходила из вестибюля на улицу, она могла надеяться лишь на себя.

К ней подскочил Зуда.

— Какая краля!

Но она оттолкнула его и двинулась на Ивана.

Это был очень красивый парень, черный и смуглокожий, с голубыми глазами, тонкий в кости и с легкой походкой.

Оля замечала его и раньше и по женской своей логике считала: раз самый красивый, значит, главарь. Она подошла к нему и сказала:

— А ну, пошли отсюда! Что вам здесь надо?

— От это да,— захихикал Зуда,— от это сыроежка!

— Гы-гы-гы,— заржал Внучик, за ним братья Баранчины и все остальные.

— Подождите,— сказал Иван.— Мы уйдем отсюда,— повернулся он к Оле,— если пойдешь с нами.

Все замолчали, ожидая потехи.

Иван подбросил деньги в ладони:

— На кино у нас есть.

— В кино? — спросила Ольга, глядя ему в лицо.

— В кино,— ответил он, не отводя глаз.

— Ладно,— сказала она.

И они двинулись вниз по улице большой толпой, впереди Иван и Оля, и, шагов на пять отстав от них, вся шанхайская шпана.

Иван обнял Олю за талию, и она почувствовала тепло его легкой горячей руки. Оля инстинктивно пошла быстрее, потом, словно махнув рукой, подумала: «Пускай, все равно же я всех спасаю»,— и опять замедлила шаг.

Шедшие сзади парни все как один Ваньке завидовали, но вида не подавали, посмеивались, перемигивались друг с дружкой и уговаривались, чего б им такое попотешнее умудрить.

Но умудрить им ничего не пришлось. В парке Иван купил два билета в открытый кинотеатр для себя и для Оли. Бросив ребятам через плечо: «Ждите»,— прошел в зал и, к общему удивлению, возвратившись, сказал:

— Если кто-нибудь к ней сунется,— убью.

И пошел в сторону танцплощадки. Все поплелись за ним.

— Много о себе очень думает,— сказал тогда Волга, он не мог допустить и мысли о том, чтоб Ванька наравне с ним управлял ребятами.— К концу фильма вернемся сюда и покажем девахе этой.

Но через полтора часа Оли уже не было.

Потом Оля с Ваней часто вспоминали этот свой первый день.

— Я так плакала тогда, так плакала,— говорила Оля,— ты прямо как мне по носу нащелкал. Я думала, сейчас сядет со мной, свет погасят, обнимет... Знаешь... я специально на последний ряд пошла, думала, мы целоваться будем, никакая я не дальнозоркая... А ты принес мне конфету: на, мол, детка, поешь сладенького, ты еще маленькая, и ушел.

— Не конфетку, а эскимо,— улыбнулся Иван.

— Ты помнишь? — радостно спрашивала Оля. А потом, знаешь, я ходила гулять только туда, где могла встретить тебя, но так боялась, что ты это поймешь, что каждый раз, увидев тебя, отворачивалась или куда-нибудь пряталась. Вот. А когда увидела тебя с этой...

— Глупенькая

— Никакая не глупенькая... А когда ты меня первый раз поцеловал, мне сначала страшно стало, потом радостно, потом обидно.

— Почему?

— Непочему. Обидно стало до слез, вот и все. Я дала себе слово, что больше не приду к тебе. Я презирала себя за то, что разрешила это сделать.

— Вот это да!

— Но потом, конечно, опять пришла, и, конечно, когда ты пошел меня провожать, ты снова стал целоваться. Когда я уехала на каникулы, я не то чтобы с тобой поссорилась, но только я поехала с мыслью забыть тебя. Там я тебя очень редко вспоминала, да, не думай. А когда вернулась, мне так захотелось увидеть тебя, и...— Оля вздохнула.— Все закрутилось, завертелось. Я поняла: ты такой родной, такой близкий мне человек, что ссорься и ссорься, обижайся и обижайся — ты во мне. И сейчас я думаю о том, что мы вместе, как о каком-то чуде. Но ты должен понимать, как я тебя люблю, и дорожить этим.

Он смеялся:

— Я понимаю, но только не рассказывай так больше.

— Почему?

— А то я лопну от гордости. Ведь ты мое первое счастье,— говорил Иван и не очень преувеличивал.

Отца своего он не знал. Рос забиякой, веселым и хулиганистым мальчишкой. Но в пятнадцать лет беззаботная жизнь закончилась, от сердечной недостаточности умерла мать, и Иван пошел на завод. Еще через два года Иван похоронил бабку и почти сразу ушел в армию.

После службы возвращаться домой не хотелось. Не ждал его дома никто, и не оставил он ничего там, кроме тягостных воспоминаний. И поэтому, когда в их часть приехал майор из округа и сказал, что можно завербоваться на новую большую стройку, Иван с радостью ухватился за эту возможность. Так он попал в этот город.

Очень боясь одиночества, друзей он особо не выбирал. Не выбирал Иван и подруг. Девушки заглядывались на него, но о семье Иван никогда не думал.

А тут, когда он встретил Олю, ему вдруг так захотелось не семьи даже, не своего дома, а сына, так захотелось, что и выразить невозможно. Сына, чтоб кататься с ним на каруселях — мальчишкой Иван ужасно любил карусели, только редко туда попадал; чтоб ходить вместе в тир; чтоб склеивать планер, пойти в воскресенье за город, запустить его с вершины холма, а потом бежать вслед за ним вместе с сыном, бежать по склону, смеяться, кричать и махать руками.

Иван иногда смотрел на Олю и думал: «Когда привезу ее из роддома, ватмана где-нибудь раздобуду и во весь лист напишу: «Олька родила детку!»,— прямо против двери повешу, чтоб сразу увидела».

Он любил смотреть на нее. Просто смотреть. Особенно когда она была чем-нибудь занята. Ей нравилось праздить в доме, чувствовать себя хозяйкой, и она всегда с удовольствием прибирала в его вагончике, отчитывая за неряшливость, готовила какую-нибудь еду или посылала его в магазин. И он шел с охотой. О женитьбе они еще ни разу не говорили, но уже давно играли в семью, в строгую и хозяйственную жену и послушного мужа.

Вагончик Ивана с тех пор, как в нем стала появляться Оля, совсем преобразился. Первым делом Оля вывернула из патрона старую лампочку и вставила новую, на сто свечей, потом приказала Ивану оторвать прибитые ставни, и в комнате стало намного светлее. Оля вымыла и почти до белизны выскоблила пол, постирала маленькие пестрые занавески на окнах, покрыла стол белой простыней, а на табуретку постелила наволочку. Вагончик сразу приобрел жилой вид. Она постоянно что-то приносила — то вышитую салфетку, то какой-нибудь отрывной календарь,— что-то чистила, устраивала и стирала.

Как-то Иван проснулся утром от плеска воды. Был праздник, и Оля на время каникул домой не поехала, а просто перебралась к Ивану. Он приоткрыл глаза и увидел, что Оля уже проснулась, встала и опять стирает. Ему стало ужасно смешно и радостно. Некоторое время он сквозь слегка прикрытые веки наблюдал за ней.

Луч низкого солнца, проникая в комнату, рассекал сумрак вагончика. Оля стояла в этом светлом золотистом сиянии, слегка нагнувшись и по локоть окунув руки во взбитую сверкающую пену, в своем платьице, в туфлях на босу ногу, разгоряченная нетяжелой, приятной работой, с колечком волос, прилипших ко лбу, и была такой нежной и юной, что у Ивана прямо замерло сердце.

— Ну, ты меня заметишь когда-нибудь?

Оля смеялась, довольная, вытирала руки, и они целовались.

— Знаешь, я так люблю стирать.

— Глупая,— говорил он и усаживал ее к себе на колени,— я думал — меня.

В эти минуты он испытывал такую полноту жизни,



что ему, здоровому парню, хотелось заплакать, и казалось, нет человека на свете счастливее его. И в то же самое время было ужасно грустно от совершенно ясного чувства: все это так хорошо, что больше уже никогда не повторится.

Ивану все, абсолютно все нравилось в Оле.

И даже то, что она не нравится его дружкам и подругам, а они — ей.

«Значит, на них не похожа,— думал он,— значит, лучше».

Как-то, гуляя, Иван с Олей увидели, что навстречу им по улице идет девушка, которую Оля прежде не раз видела вместе с Иваном.

— Пойдем на ту сторону,— сказала она и потянула Ивана за руку.

— Ты что? Смешно ведь.

— Пошли! — Оля с силой дернула его за рукав пиджака, и он, с трудом устояв на ногах, засмеялся.

Девушка была уже настолько близко, что перейди они сейчас улицу, это б выглядело слишком демонстративно.

Девушка подошла к ним:

— Здравствуй, Ваня.

— Здравствуй, Наташа.

Потом долгим и прямым взглядом окинула Олю с ног до головы и вежливо произнесла:

— Здравствуйте.

Оля, отвернувшись, молчала.

— С тобой ведь здороваются,— сказал Иван.

— Я глухонемая,— ответила Оля.

— Где ты такое растение нашел? — спросила Наташа.— Во Дворце пионеров, что ли?

— В приюте для престарелых,— ответила Оля.

Дернув плечами, Наташа ушла.

А Оля потом целый час в скверике на скамейке ревела навзрыд.

— Я их ненавижу всех, девчонок твоих, и ребят тоже,— говорила она,— я тебя ревную ко всем, да, ко всем, и ничего сделать с собой не могу!

И Иван, сидя рядом с ней, ее утешал. Он попытался придать лицу выражение жалости, но, глядя на плачущую Олю, улыбался. Он обнял ее:

— Мне так нравится, как ты плачешь...

Она уперлась ему в грудь руками, отодвинула от себя и посмотрела в лицо.

Иван улыбнулся.

— Мне тебя хочется тогда защитить от всего на свете.

Она опять положила ему голову на плечо и опять заплакала.

— Знаешь, когда один, намного спокойнее и легче,— он гладил ее по голове и целовал,— а когда любишь кого-нибудь, так боишься, что беда какая-нибудь, или война, или еще что. И сам-то ладно, а вот что тебя не убережешь, так страшно...

— Ага.— Она вздохнула, всхлипнула в последний раз, утерла слезы и сказала: — Я так же чувствую, пойдем.

Когда Ольга в первый день не пришла на встречу к Ивану, потому что ее не выпускали из общежития, он прождал ее до одиннадцати часов у главного входа в парк и только в начале двенадцатого отправился к себе; все уже к этому времени улеглись спать, и он ничего не сумел узнать.

На другой день он еле дождался конца смены и после работы пошел сразу к общежитию, но вахтер его внутрь, конечно же, не пустил, а девчонка, которую он иногда видел рядом с Олей, на его вопрос, не заболела ли она, ответила, что нет, Олька здорова, только ее не отпускают.

— Почему? — спросил Иван.

— Не знаю, наказали за что-то.

Иван еще раз попытался пройти мимо вахтера, но тот пообещал, что вызовет милиционера.

Иван вышел на улицу, побледневший и напряженный, у него будто свело все внутри.

На следующий день он пришел в общежитие в парадном синем костюме, белой рубашке и вишневом галстуке и сказал Зинаиде Дмитриевне:

— Вы Ольгу здесь держать не имеете права. Я на вас в суд подам.

— А ты не имеешь права сюда заходить,— твердо произнесла Зина.

Но и сама она уже понимала, что не сможет вечно держать девчонку, словно на привязи, все равно убежит.

«Вот паршивцы! — чуть не со слезами думала Зина.— Я же столького здесь добилась. И Кирилла встретила, и комнату дали, и свадьбу осенью собирались сыграть, и теперь вот... Теперь, если со Светловой с этой что-нибудь приключится, все посчитают: и вызов Юриной матери, и крики перед запертой комнатой, и трехдневное отсутствие Оли, и то, что поначалу его утаила... Они выучатся все и уедут, и уж между собой как-нибудь разберутся. А у меня что, вторая жизнь будет?!»

10

Сергея Зина вызвала к себе от бессилия. В то время Сергею, наверное, было хуже, чем всем.

...Раньше Иван каждый день приходил к общежитию, чтоб потом уйти куда-нибудь с Олей.

Сергей к этому времени всегда убегал из училища, чтоб не столкнуться с ними случайно. Он помнил, как здесь увидел их вместе: Иван вел Олю под руку, а она, немножечко семеня, его обгоняла и, улыбаясь, заглядывала в глаза.

Сергей теперь до ночи шатался там, где их никак не могло быть, но легче от этого не становилось. Все вокруг, все напоминало Олю. Он смотрел фильм с французской актрисой и думал, как на Ольку похожа. Он вспоминал очень ярко, почти осязаемо, как его обнимала Оля, ее губы, дыхание горячее...

Значит, и его так обнимает, как меня обнимала,— пугался Сергей, и внутри все застывало. «Убью,— коротко и тяжело думал он.— Сам в тюрьму пойду, все равно жизнь моя кончена, и так легче... А может, они и правда только танцуют вместе? — Сергей судорожно хватался за эту мысль.— Только танцуют, и все, и ничего больше. Пусть только скажет. Все прощу, все! Все забуду... Нет! В гробу она видела прощение мое»,— вдруг понимал он, и опять становилось тяжело и совсем одиноко.

Самое невыносимое было в том, что Сергей ни на минуту не мог освободиться от мыслей об Ольге.

«Надо ее забыть,— приказывал он себе,—влюбиться бы в кого-нибудь, в Ленку вот, что ли».

Он вспоминал Лену Козлову, которая всегда, когда объявляли белый танец, приглашала его.

«Глаза ни на кого не смотрят»,— вздыхал он.

Однажды Оля приснилась Сергею с парнем, которого она никогда не видела и не знала. Это был Андрей Берсеньев, когда-то он жил с Сережей в одном доме. Два года назад Андрей ушел в армию и остался там на сверхсрочную.

Ольга с Андреем целовались, обнимались и кружились по огромной беседке.

Сергей очнулся, совершенно отчетливо помня сон, и потом весь день провел словно в тумане.

Но уже на следующий день, укладываясь спать, Сергей горячо повторял про себя, словно молил: «Ну, приснись, приснись мне, пожалуйста...»

Зинаида Дмитриевна позвала Сергея и сказала:

— Хочу посоветоваться с тобой, ведь ты раньше дружил со Светловой.

Сергей покраснел.

— И что она с этим шанхайцем ходит? Смотри, какую объяснительную написала. Принуждает он ее, что ли? Как думаешь?

А Сергей читал Олину объяснительную и думать уже не мог. Он вскочил из-за стола и побежал на улицу. На улицу, потом в парк, где встретил Голицына, Кольку Петрова, а вместе с ними и Юру, который так давно хотел помириться с товарищем, что даже обрадовался возможности ему помочь.

11

Василий Афанасьевич тогда же дознался, как все это случилось, и Зинаиду Дмитриевну уволил.

Он вызвал ее к себе и предложил написать заявление об уходе по собственному желанию.

Зина отказалась.

Но в этот раз Коваль проявил твердость. За месяц объявил Зинаиде три выговора и уволил как «не обеспечившую учебно-воспитательного процесса».

Зина еще несколько раз приходила к замполиту, плакала, просила, требовала, кричала, что дойдет до райкома, до горкома, если нужно будет — до министерства, но Василий Афанасьевич решения своего не отменил.

— Вас уже не переделаешь,— сказал Коваль тогда Зине,— и вы еще таких дров наломаете, что рядом с ребятами вам никак нельзя быть.

Прошло несколько лет.

К Шанхаю теперь уже вплотную подошел город, и каждый день оранжевый рычащий бульдозер, ровняя в поселке землю под очередную строительную площадку, ломал старые постройки, превращая их в груды мусора. Начали закладывать фундаменты новых зданий, а вагончики перебросили в другое место. Нет здесь больше и первого дома Оли с Иваном. А сами они уехали к Олиной матери и поженились.

Юра, отслужив в армии, вернулся к себе в деревню. Дома осталось почти все по-прежнему. Только Надька пошла в первый класс и постарел немного Южан.

Хоть живет Юра с родителями, но все равно скучает, теперь, правда, по городу.

Как человека образованного (а выдали ему в училище не аттестат зрелости даже, а настоящий диплом) и как бывшего сержанта строительного батальона, его почти сразу назначили бригадиром к мелиораторам. Юра в армии повзрослел и возмужал очень, но сейчас руководит людьми много старше себя, и солидности ему все-таки не хватает. Все есть: и знания и сноровка, а солидности нет. Поэтому, чтоб быстрее росла борода, бриться он стал по два раза в день и по вечерам появляется на собраниях и в клубе даже в жаркую пору только «при галстуке». Употребляет много ученых слов: орошение называет исключительно «ирригацией» — и постоянно рассуждает про экологию. Его односельчане, свято верящие в науку, прислушиваются к нему.

И дома его голос приобретает все больший вес, ведь он надежда семьи и главный добытчик — зарабатывает не меньше отца.

Недавно Юра, придя с работы, принес какой-то квиток и сказал:

— На фортепьяно в очередь встал.

— Все люди, как люди,— пробурчал отец,— мотоциклы приобретают, а ты... чего ты там?

— Ну, фортепьяно... пианино Надьке решил купить, пусть учится.

Мать радостно всплеснула руками, а отец спросил немного испуганно:

— Сынок, может быть, баян лучше, и подешевле и...

— С баяном только на свадьбах играть,— улыбнулся Юра,— а с фортепьяном ей везде зеленая улица,— сказал он, и вопрос был решен.

Судьбу младших братьев Юра тоже уже решил.

— Вот подрастут,— заявляет он,— отправим их в город, в мое училище.— И, когда вспоминает, как отец твердил «там каждый день мясо», добавляет значительно: — Там культура.

И Сергея, как говорит замполит, училище выпрямило.

Поняв тогда, в чем было дело, Василий Афанасьевич подумал, что Сергею вряд ли кто сможет помочь. Но сам все же пытался.

Он записал Сергея сразу в две спортивные секции — плавательную и волейбольную — и бдительно следил, чтоб Сергей их посещал. «Чтоб отвлекся»,— говорил Коваль.

Василий Афанасьевич даже как-то посылал Волкова в новое, только что открытое швейное училище, будто с поручением к тамошнему замполиту.

— Иди и скажи ему,— просил он Сергея,— что я с ним согласен (или несогласен).

Сергей передавал одну из этих двух фраз (фантазии у Василия Афанасьевича было намного меньше, чем доброты). Василий Афанасьевич надеялся, что, может быть, там, в этом новом, почти совершенно девчачьем ПТУ, приглянется Сергею какая-нибудь хорошенькая швея.

«И сам успокоится,— думал Коваль,— и мне поспокойнее станет». Но Сергею так никто и не приглянулся. Наверное, поэтому до самого конца учения Василий Афанасьевич и не спускал с него глаз. А когда подошли уже выпускные экзамены, спросил его:

— Ты дальше-то что думаешь делать?

— Как все.

— Тебе бы учиться надо. Ты парень толковый. Если захочешь, мы тебе направление дадим. В техникум. Там и общежитие есть. А у нас ведь на стройках только иногородним дают. Так что и домой тебе не придется возвращаться.

Сергей вспыхнул, а потом подумал, что хоть и часто его ругал Коваль, а зла Сергей от него никогда не видел, и согласился.

Сейчас он учится в техникуме, индустриально-педагогическом, и, наверное, тоже будет работать в училище.

А у Василия Афанасьевича тогда же, сразу после выпуска, появились опять заботы. Надо набирать новый курс.

Он целый день проводил в приемной комиссии и только изредка, совсем уж усталый, сидел с кем-нибудь из педагогов в скверике перед училищем.

Однажды, когда они так курили втроем — он, Лев Андреевич, Владимир Николаевич Овчинников,— Коваль увидел, как из общежития вышел белобрысый высокий парень, поразительно похожий на Волкова. Если б он точно не знал, что Сергей — единственный сын у родителей, то наверняка бы решил: это его брат.

«Новичок, наверное,— подумал Коваль,— оформляться приехал».

Парень подошел к ним.

— Вы из этого училища? — спросил он.

— Да,— ответил Прохоров.

— Ну, и как училище?

— Хорошее,— сказал Лев.

— А чего ж вы такие грустные?

Лев с удивлением посмотрел на него — мальчишка оказался на редкость общительным.

— Да вот ребят своих проводили, теперь скучаем без них.

— С первого сентября я у вас учиться буду, со мной не соскучитесь.— Парень сверкнул зубами и пошел дальше.

Лев засмеялся, Владимир Николаевич вздохнул, а Коваль поднялся и сказал:

— Пойдемте работать.

●

Наталья Гуревич







Наталья Гуревич — инженер-строитель. Летом 1969 года была комиссаром студенческого строительного отряда, а спустя год — бойцом интернационального отряда, работавшего в Ленинградской области. Как сотрудник «Ленгипротранса», участвовала в проектировании мостов для БАМа.

✪

Толпились во дворе военкомата
Внезапно повзрослевшие ребята:
Нет-нет, не мальчики — уже сыны —
В один из первых дней большой войны.

Один из них стоял от всех в сторонке,
Жалел, что не завел еще девчонки,
Что далеко в селе осталась мать,
И некому, как видно, провожать.

Но вдруг—судьбы знаменье или милость—
Старушка незнакомая явилась.

— Как звать тебя, сынок! — она спросила,
Потом вздохнула — и заголосила:
— Хороший мой, красивый мой, кудрявый...
И дальше — чтоб вернулся он со славой.

Так на земле на русской не положено,
Чтоб шел солдат на битву непровоженным.

И, соблюдая старую примету,
Ему совала медную монету,
Чтоб тот, кто отправлялся в трудный путь,
Пришел обратно этот долг вернуть.

Она бежала вслед грузовику
И что-то повторяла на бегу.

Тот день в неразличимом далеке,
А та монета у меня в руке.
Взгляну я на нее, еще взгляну...
С ней мой отец прошел через войну.

✪

То на щеках вдруг вспыхивают пятна,
То чертики летят из-под ресниц.
Что может быть серьезней и понятней
В учителя влюбленных учениц!
Им всем опять случайно по дороге,
И вот идут веселою гурьбой,
А впереди учитель длинноногий,
Совсем, как те девчонки, молодой.
И сказок у него на всех хватает,
И беды все пока что далеко,
И снег такой, что если он растает,
То будет не вода, а молоко.
Как при такой погоде не влюбиться
И до метро его не проводить!
Мы шли так неуклюже, точно птицы,
Привыкшие летать, а не ходить.

✪

Ребенку невозможно не болеть,
Он как должник у множества болезней.
И с ними раньше встретиться полезней,
Чем избежать — и опасаться впредь.

Подростку невозможно не болеть
Тревогой непредвиденных открытий,
Тоской несостоявшихся отплытий,
Умением по-взрослому смотреть.

И в молодости трудно не болеть
Стыдом, что просьба выглядит, как вызов,
Признаньем неизбежных компромиссов
И той любовью, что страшна, как смерть.

Я всем переболела в свой черед,
И все прошло, но я опять больная,
И чем теперь — пока еще не знаю,
Но каждый возраст боль свою несет.

✪

Какое странное соседство
Таких двух непохожих снов!
В одном из них я вижу детство,
Обегавшее сто дворов,

Облазившее сто заборов,
С лягушкой в потном кулаке,
Весь этот дивный мир, который
Остался где-то вдалеке.

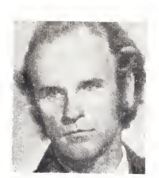
И сон второй, в нем все похоже,
Как будто только миг спустя,
Такой же сад и дом такой же,
Но там живет мое дитя.

Не видно: девочка ли, мальчик
В том сновидении моем.
Сначала возле лужи плачет
Над затонувшим кораблем,

Потом идет, а мостик тонок,
И нет конца его пути,
А я сама еще ребенок,
И нелегко его спасти.

И я твержу себе упрямо:
Спасу, спасу — не побоюсь!..

Чужой ребенок крикнет: «Мама!»,—
И я мгновенно обернусь.



Август Ярковец работал на целине. Отслужив в рядах Советской Армии, был плотником, электросварщиком. Окончил Ленинградский университет, работает в Ленинградском институте ядерной физики имени Б. П. Константинова.



Наталье Гранцевой 25 лет, она уроженка Ленинграда. После окончания десятилетки работает в многотиражной газете, заочно учится на 5-м курсе Литературного института имени Горького.

Мы не включаем свет умышленно —
собака прячется от света,
боится, чтобы не услышали
и не прогнали до рассвета.

Она, наверно, огорчается.
Ее, наверно, удивляет —
никто не хочет стать хозяином,
но и никто не прогоняет.

✪

Теплится, теплится в сердце
то, что угасло давно —
чистые светлые сенцы,
сад и резное окно.

Лепет тенистых черемух,
срезанный лист лопуха.
Белая тропка от дома
вдаль, в голубые луга.

Кто там стоит у колодца,
лунным ведерком звеня,
машет рукой и смеется?!
Может быть, мама моя!

✪

Давно ли ушла моя юность?!
Вчера или позавчера!
Давно ли басовые струны
оплакали те вечера!

Но нету ни страха, ни грусти
теперь уже в сердце моем.
И дни, словно дикие гуси,
летят над закатным огнем.

Все было. Тяжелою данью
заплачено первой любви.

А вот и второе дыханье,
вторая надежда в крови!

Сегодня смотрю я иначе
в глубины грядущего дня,
откуда возникнет удача
и, может, изменит меня.

Наталья Гранцева

✪

В ту ночь, когда над городом неслышным
Плывет, сверкая, месяц в синеве,

Нева в ледовом беспорядке пышном
Зовет меня — и я иду к Неве.

Я по ступеням медленным ступаю,
Скольжу, держась за воздух голубой,

Я черную перчатку отпускаю
В движенье льдин, звенящих меж собой,

Я слышу голос Александра Блока,
Когда он шел, тревогою гоним,

И вьюга, налетевшая с востока,
Как женщина, терялась перед ним.

✪

Огибая воронки и ямы,
Что ты, мальчик, идешь от ворот?
Что ты ищешь пропавшую маму?
Что ты плачешь! Она не придет.

Набиваются снегом ботинки,
И вокруг ни души, ни огня.
Я отдам тебе мяч и картинки,
Только ты доживи до меня.

Не ходи. Артобстрелы нередки.
Даже ночью проспекты бомбят.
Постучись к одинокой соседке,
И она не прогонит тебя.

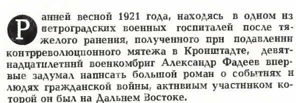
Этот город, как страшная сказка,
Пробирается в ночи твои.
Я отдам тебе книги и краски,
Только ты до меня доживи.



У ИСТОКОВ ТВОРЧЕСТВА



К 75-летию А. А. Фадеева



Ранней весной 1921 года, находясь в одном из петроградских военных госпиталей после тяжелого ранения, полученного при подавлении контрреволюционного мятежа в Кронштадте, девятнадцатилетний военкомбриг Александр Фадеев впервые задумал написать большой роман о событиях и людях гражданской войны, активным участником которой он был на Дальнем Востоке.

«В то время я не думал, что буду писателем,— рассказывал он много лет спустя,— впечатления же всего происходящего, пережитого откладывались в моем сознании. Очевидно, в той борьбе, в которой я участвовал, что-то особенно поражало меня, какие-то стороны этой борьбы привлекали особенное внимание...»

Выйдя из госпиталя, переехав в Москву и став студентом Московской горной академии, Фадеев много и напряженно работает как литератор, пробуя свои силы в малых формах; в результате в 1923 году в печати появляется его первый рассказ «Против течения» (впоследствии получивший название «Рождение Амгуньского полка»), а вслед за ним (хотя и ранее написанная) — первая повесть «Разлив».

Но оба эти произведения не удовлетворяют молодого писателя. Его не покидает мысль о том большом романе, который был задуман на госпитальной койке...

По его тогдашним представлениям, роман этот должен был вместить все, что он увидел, пережил и передумал за годы гражданской войны. Ему хотелось не только отразить героическую вооруженную борьбу нашего народа за Советскую власть, но и показать, как в процессе этой борьбы формировался характер нового человека, как успешно решала социалистическая революция экономические, социальные, национальные и нравственные проблемы современной общественной жизни...

Эти сложные темы двух его будущих романов («Разгром» и «Последний из удэге») очень тесно переплетались в задуманном произведении: «Я не думал тогда,— говорил впоследствии Фадеев,— что это будут два произведения, я думал написать одно роман...» Он переживал в ту пору тот самый «период первоначального художественного накопления», когда, по его словам, в сознании писателя «...нет еще цельных, законченных художественных образов, есть только сырой материал действительности: только впечатления от наиболее поразивших его лиц, характеров людей, событий, отдельных положений, картин природы и т. д.».

Некоторое время спустя все эти разрозненные образы действительности стали складываться «...в некое целое, хотя далеко еще не законченное», постепенно начали оформляться «...какие-то основные вехи произведения», наступал тот «таинственный» процесс «вынашивания» и осмысления будущего произ-

А. Фадеев. 1924 год.

ведения, после которого можно было браться за перо...

Но тогда, в 1924 году, живя в Москве, а потом в Краснодаре и Ростове, молодой писатель искал «подходы и подступы» к трудному для себя роману, тщательно обдумывал пути и средства художественного воплощения своего замысла: то он начинает писать рассказ «Смерть Ченьювая», то оставляет его и с вдохновением работает над повестями «Таежная болезнь» и «Враги» (так первоначально хотел он назвать «Разгром»; потом «Враги» превратятся в одну из глав знаменитого романа).

В процессе такой упорной работы, окончательного отбора материала, творческих поисков и размышлений Фадеев приходит к выводу, что его первоначальный замысел вообще невозможно воплотить в рамках одного произведения: «...я понял, что это два произведения и сознательно начал работать в обоих направлениях...»

Однако вскоре его сильнее увлекает тема одного из этих произведений, и, начиная с 1925 года, он целеустремленно и систематически пишет роман «Разгром», успешно завершая эту работу в конце 1926 года.

«Смерть Ченьювая», как и «Таежная болезнь», остались произведениями незаконченными, но они представляют огромный интерес как самые первые наброски того задуманного большого и единого романа о гражданской войне, который впоследствии «распался» по воле писателя на два: «Разгром» и «Последний из удэге».

Ознакомив в свое время читателей «Юности» с рукописью «Таежной болезни» [1], мы предлагаем теперь их вниманию сохранившиеся страницы рассказа «Смерть Ченьювая», в котором наиболее тесно переплелись идеи, отдельные персонажи и ситуации как «Разгрома», так, в особенности, «Последнего из удэге».

Задуманный вначале как повесть, рассказ этот — о жизни небольшого племени удэгейского народа, с которым Фадееву-партизану приходилось не раз встречаться во время боевых походов по дебрям Уссурийской тайги.

Фадеев знал и видел, как тяжко жили в царской России бесправные, нищие и вечно полуголодные удэгейцы, корейцы и вообще малые народности, населявшие Дальний Восток. Знал, как страдали они и от алчных русских торговцев, пробиравшихся сюда в погоне за дешевой пушниной, и от зверских и опустошительных налетов банд разбойников-хунхузов, с которыми после революции приморские партизаны повели самую непримиримую борьбу.

Фадееву хотелось рассказать обо всем этом, одновременно наглядно показав, как спасла Октябрьская революция все эти малые народы и народности от неизбежного вымирания, открыв перед ними широкую перспективу свободной и счастливой жизни...

Осенью 1927 года в письме своему давнему приятелю И. С. Макарьеву Фадеев сообщает: «...сел за писания и уж намерен не отрываться от них, пока не кончу нового романа. Называется он «Последний из удэге» и развился из предполагаемого рассказа «Смерть Ченьювая»... Здесь будут у меня и хунхузы, и иногородцы, и всякая прочая «чертовщина», но основное задание, как и в «Разгроме», психологическое...»

Рассказ «Смерть Ченьювая» можно по праву считать исходным вариантом «Последнего из удэге», поскольку в его основе лежит главная идея этого романа, выраженная, правда, довольно еще скупо.

В рассказе мы встречаем немало текстуальных совпадений с романом. Здесь есть даже эпизод, почти полностью включенный потом автором в «Последний из удэге»: это встреча партизанского отряда с хунхузами и их главарем, бандитом Ли-фу («Последний из удэге», ч. II, гл. XVII—XXI), только в романе этот отряд возглавляет Гладких, а в рассказе — Левенсон. Именно здесь, впервые вообще упомянув фамилию Левенсона, Фадеев лишь незначительно изменил ее («на одну букву»), назвав партизанского вожака в «Разгроме» — Левинсоном, сохранив неизменными и некоторые портретно-психологические детали, характеризующие своего любимого героя. (К примеру: «...Глаза у Левенсона — немутнеющие озера. Они вбирают человека вместе с унтами и видят в нем многое такое, что, может быть, самому человеку неведомо...»)

В рассказе этом мы впервые встречаем известного нам по «Разгрому» ординарца Левинсона — Морозку, показанного здесь (как потом и в романе), разбитным, веселым балагуром, большим любителем прихвастнуть и приврать: только в романе образ этот дан психологически более развернуто и глубоко. Есть тут и другой, знакомый нам партизан — «угрюмый подрывник» Гончаренко, который все пытается урезонить Морозку, изобличить его во лжи, но, будучи «слишком неизобретателен на слова»,— «больше мычал да сопел, копаясь в кожаных вьюках».

При свете таежных костров мы видим здесь и «кремневые лица» партизан и их «сухие узловатые руки», так хорошо знакомые по «Разгрому» и по «Последнему из удэге»...

Во второй главе рассказа (имеющего в рукописи два варианта) речь идет о нападении хунхузов на партизанский госпиталь доктора Сташинского (тоже персонаж из «Разгрома»!). Однако это нападение заканчивается более или менее благополучно лишь потому, что Сташинский когда-то вылечил главаря этой банды Ка-се (помощника Ли-фу), и тот в благодарность за свое спасение сохраняет жизнь всех тех, кто находится в госпитале, но не может не разграбить медикаменты и не выпить весь спирт...

В этой главе происходит весьма значительный для выяснения основной идеи рассказа (и романа) разговор Сташинского с фельдшером Ременяком об удэгейском роде Ченьювая (который в романе «Последний из удэге» фигурирует под именем Масенды). Из этого разговора выясняется, как изменилась уже за первые два года после Октябрьской революции жизнь рода Ченьювая, совсем еще недавно стоявшего «одной ногой в могиле». Как бы наперекор прошлому родившийся у удэгейки Сунги сын «не только не хиреет, но крепнет и здоровеет с каждым днем... Он растет как кедр». Этот счастливый ребенок становится символом новой жизни удэгейского народа.

Как все это перекликается с общей идеей и замыслом «Последнего из удэге»!

Таким образом, мы видим: да, многое из публикуемого рассказа вошло в знаменитые фадеевские романы. Вероятно, именно поэтому рассказ (к тому же не оконченный) никогда не публиковался Фадеевым, за исключением одного из вариантов первой главки, напечатанного пятьдесят лет назад в ростовской комсомольской газете «Большевистская смена». Нет его и в собрании сочинений писателя.

Рукопись рассказа хранится в ЦГАЛИ.

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

[1] Первая глава из этой повести («Один в чаще») впервые была опубликована нами в «Юности» № 10, 1956 года.

Ал. ФАДЕЕВ

СМЕРТЬ ЧЕНЬЮВАЯ

1

Первым встретился с ними отряд Левенсона — в походе на Хаунихедзу. Это случилось на перевале от весны к лету, когда таежный лист был в самом соку, а хвоя исходила смолой и теплыми пряными запахами.

Встреча была тем более неожиданной, что судя по всему ни один человек не бывал в этом районе по крайней мере с первого года войны. Старая Хаунихедзская тропа густо заросла бархатным пырником. Ноги тонули в мягком перегное прошлогодних трав. Он покрывал утоптанный грунт рыхлым коричневатым слоем в несколько пальцев. Зверь попадался часто и, видимо, не был напуган. Свежие медвежьи лежанки встречались у самой тропы. Утиные выводки спокойно плавали в осочных заводях, под боком у людей. Тут же, в траве, можно было нащупать их нехитрые гнезда с нежным, еще теплым пухом утят. Всюду шла своя, давно не нарушаемая человеком, суровая и беспечная жизнь.

Но третьим вечером, когда лиловые тени устлали дорогу, тайга раздалась внезапно расчищенной прогалиной, и прямо перед людьми вырос свежесрубленный смолистый барак. Из длинной китайской трубы тянулся к вершинам синевато-сизый дымок и оседал в ветвях тоненькими пластами.

Барак выскочил так неожиданно, что в первое время никто не успел даже удивиться. Люди прошли еще несколько шагов прежней усталой походкой, как будто ничто не изменилось на пути. Очевидно, то же испытали и сидевшие на завалинке. Они не вынули изо рта трубок, не вытаращили глаз, не попытались сделать ни одного движения. Однако уже через несколько секунд и те и другие стояли в угрожающих позах, безмолвно ощерившись оружием...

В этих заброшенных, облюбованных зверем местах еще господствовал старый таежный закон: когда ты встречаешь в лесу человека, постарайся первым убить его. Иначе он сделает это с тобой.

Но на этот раз ружья поднялись одновременно. Люди осторожно изучали друг друга, не отнимая пальцев от курков и не спуская глаз с курков противника. Тропа и барак выбрасывали на прогалины все новых и новых,— равно готовых к бою и приветствию. Они выжидательно застывали на месте, как тигры перед последним прыжком.

В эти томительные, насыщенные смертью минуты Левенсон изучил до мелочей застывшую перед ним в сторожком и хищном ожидании приземистую фигуру. Она сжалась стальной пружиной, готовой выпрямиться в любое мгновение для смертельного удара. Кривые и цепкие ноги вросли в землю, как древесные корни. Из черных монгольских глаз, как из расщелин в камне, сочились неустанным родником янтарные слезы.

Левенсон никогда не встречал этого человека, но узнал его сразу — и по слезящимся глазам и по глубокому шраму на верхней губе.

Оба одновременно опустили оружие по какому-то безмолвному соглашению. Левенсон хотел спросить, как попал сюда Ли-фу, не помяв травы, но вместо этого сказал:

— Добрый вечер...

Ли-фу заметил, что пальцы Левенсона немного дрожали, но глубокие и большие, не по лицу, глаза смотрели с обычной невозмутимостью. Глаза у Левенсона — немутнеющие озера. Они вбирают человека вместе с унтами и видят в нем многое такое, что, может быть, самому человеку неведомо.

— Привет,— сказал Ли-фу,— я не ждал тебя тут, признаться...— Он довольно правильно выговаривал русские слова, только с сильным китайским акцентом.

— Я думаю, мы оба не ждали,— заметил Левенсон.

Они постояли молча, все еще не доверяя друг другу.

Левенсон первый спрятал револьвер в кобуру и протянул руку. Ли-фу пожал ее цепкой шершавой ладонью, и тогда замершая в напряженном ожидании прогалина выстрелила в таежную хмурь живым, взволнованно-радостным гомоном.

— Вантя хо-хо-о!..— кричал, размахивая карабином, ординарец Левенсона Морозка.— С хунхузьями дружбу завели, во как!..

— Дружбу... сук-киному сыну! — выругался отрядный кашевар.— Тайга, топь, глушь... тьфу!.. Какая тут дружба?

Он был человеком старой закалки и не любил, когда нарушают закон. Недаром его звали в отряде «мировым судьей».

Но буйная и трепетная радость невольно взмывалась в усталом теле. Он обхватил Морозку руками, похожими на ржавые перевесла, и оба покатились по траве, рыча и фыркая, как барсуки.

— Веселые у тебя ребята,— сказал Ли-фу.— Это хорошо. Веселье дороже богатства.

Он медленно набил трубку пыльной «маньчжуркой» и, вскинув на Левенсона слезливые родники, добавил:

— У нас нет веселых людей...

На прогалине уже разводили костры. Вспышки смолистой хвои выхватывали из темноты кремневые лица, сухие узловатые руки, сверкающие ленты ружейных дул. Во мшистой тишине тревожно залаяла лисица. За темной ольховьей порослью чудилась ее мягкая поступь. Вьючные лошади настороженно прядали ушами. И люди, отходя от костров, казалось, сбрасывали с себя людское обличье и крались по траве лисьей походкой.

Пока варили суп, Морозка рассказывал о своих подвигах. Разумеется, он присвоил себе и то, что происходило с его друзьями или просто знакомыми. При этом он не смущался присутствием некоторых из них тут же у костра. Подумаешь, какая беда... Разве не бывает в жизни одинаковых случаев?

Его слушали, как всегда, с охотой, изредка перебивая насмешливыми замечаниями. Только угрюмый подрывник Гончаренко несколько раз пытался уличить его во лжи. Но он был слишком не изобретателен на слова и больше мычал да сопел, копаясь в кожаных вьюках.

За супом «мировой судья» рассказал о нападении Ли-фу на корейскую деревушку «Коровенку» весной

этого года. Кашевар скрывался тогда от колчаковской милиции в верховьях Фудзина. Спустившись в долину за мукой, увидел вместо желтосоломенных фанз дымящиеся головни и обгорелые изуродованные трупы.

В желтой дорожной пыли, смешавшейся с бронзовым пеплом, валялись трупики грудных ребят. Женщины в изодранных белых халатах уныло бродили по пепелищу.

— Они не плакали,— сказал «судья»,— но, когда я поравнялся с одной, я увидел: она дрожит и стонет, как раненая сойка...

Он мрачно посмотрел на китайские костры: и руки слушателей невольно опустились на винтовки.

— Этот Ли-фу всегда плачет,— угрюмо продолжал кашевар,— только слеза его холоднее льда.

Ему самому стало жутко от своего рассказа, хотя он видел все собственными глазами и все уже перегорело в нем. Впрочем, слушатели его уже привыкли ко всему. Это был здоровый, беспечный народ. Левенсон даже не заметил, как разговор перешел на какие-то «вшивые скачки», и центром внимания снова стал Морозка.

— Ну и чудасия, скажу я вам! — кричал он на всю прогалину.— Известное дело — фронт. Делать не хрен. Наловит братва вшей, ба-льшие — во...— Морозка отмерил в целую ладонь,— потом кладут их на бумагу. Ну-ка, милый, наперегонки!.. Которая скорей сползет, той, значить, и приз... Егорий в первой степени!..

Его вознаградили дружным рассыпчатым хохотом, от которого вздрогнули лошади. Только подрывник угрюмо посмотрел на рассказчика и, как всегда, не найдя подходящих слов, сказал в шестой раз:

— Ты все врешь... Дурак...

В это время у огня вырос Ли-фу.

Никто не слышал, как он подошел к Левенсону. Показалось, что он смеется над их замешательством.

— Пойдем к нам,— сказал хунхуз,— у нас с тобой будет разговор.

Левенсон только снял амуницию, и его пояс с наганом лежал на земле. Но он не надел его, даже не посмотрел в его сторону. Нужно было показать, что он не боится и доверяет Ли-фу.

Хунхузы сидели сдержанно и молчаливо, попыхивая обгорелыми трубками. Левенсон чувствовал на себе их бесстрастные взгляды, за которыми теплилась скрытая вражда, и не мог преодолеть противной дрожи в коленях. Но его нездешние глаза попрежнему посматривали с пытливой невозмутимостью. Когда он останавливал их на Ли-фу, тот неизменно отворачивался к огню.

Левенсону предложили чумизы. Он только что поел (кроме того, каша была совсем без соли), но отказываться было невежливо. Он достал из-за голенища ложку и храбро принялся за еду. Сухая и пресная крупа комками застревала в горле. Но он не подал и виду, что кушанье ему противно.

—...Если хочешь, мы уступим тебе на ночь барак,— говорил Ли-фу,— мошка не даст вам уснуть на воле.

Он старался подсунуть Левенсону невыгодную позицию на ночь.

— Не стоит, зачем стеснять хозяев?.. Мы люди привычные...

— Привычные — правда,— согласился Ли-фу.— Такие же, как мы...— Он хитро прищурился, сковырнул с полена кусочек кедровой коры и, сбоку посмотрев на Левенсона, сказал: — Может быть, мы во всем одинаковые люди?.. Как ты думаешь?..

Кусочек кедровой коры полетел в огонь. Ли-фу любил задавать «странные» вопросы.

Левенсон старательно облизал ложку и, вытерев о траву, сунул за голенище. За каждым словом хунхуза таился подвох, и не всегда его можно было бы разгадать сразу.

— Ты хорошо говоришь по-русски,— сказал Левенсон уклончиво и, не давая Ли-фу возобновить свой вопрос, добавил: — Я мало встречал китайцев, которые так бы хорошо говорили по-русски...

Он повторил это несколько раз в различных выражениях, пока Ли-фу не остался доволен похвалой.

— Я был русским переводчиком в штабе У-пей-фу,— сказал он самодовольно.— Давно — в Мукдене... В 28-й мукденской дивизии, если тебе интересно знать. Тогда я еще был подпоручиком, не имел шрама на губе и не хромал на ногу. Но служба в армии оказалась не по мне. Если тебе придется побывать в Харбине, или Цицикаре, или Хейлудзанской провинции, ты много услышишь о моих делах. Конечно, заплывшие жиром купцы не скажут тебе хорошего слова о Ли-фу. Но каждый рогульщик, каждый крестьянин скажет тебе, что Ли-фу справедливый человек. Матери учат своих детей молиться, чтобы бог послал ему удачи в его делах... Это истинная правда, потому что я стою за народ...

Левенсон сказал небрежно:

— Бывает...

Он вспомнил при этом, что корейские женщины даже не плакали, а дрожали и стонали, как раненые сойки... Слеза человека, сидящего перед ним, была холодная, как лед. Он мог так же спокойно вырезать ремни из человечьей кожи, как есть чумизу. Пожалуй, он мог бы так же спокойно жариться на костре и еще спокойней умереть. Потому что это Ли-фу. Все знают Ли-фу — от бухты Св. Владимира до ядовитых болот, что на реке Хор.

Левенсона выручил незаметно подошедший к огню Морозка; он перевернул вверх ногами весь восточный этикет развязной болтливостью «европейца».

Дружески хлопнул по плечу усевшегося у костра беззубого старика, заросшего рыже-седоватой щетиной, и тут же добродушно заявил:

— Ну, давай закурить, што ль.

При этом он хлопнул его вторично по шее тяжелой шахтерской ладонью. На Сучане такую ласку называли «обрушением кровли». Несколько комаров с завидным аппетитом сосали старческую кровь, но он даже не пытался их сгонять. Теперь он обнаружил необыкновенную живость, и Морозка залез в его кисет чуть ли не с ногами.

Вскоре к нему примкнули остальные. Обе стороны старательно угождали друг другу, чем могли. Они сорили похвалами направо и налево, как раскутившиеся богачи. Казалось, и партизаны и хунхузы готовы раздарить последние вшивые рубашки и заплесневевшие сухари. Их трепаные кисеты с «маньчжуркой» открывались в любой момент— «раскурочно и навынос».

Но в то же время никто не доверял друг другу ни на одно слово, ни на одно движение. В упруго насторожившихся телах таилось что-то обманчиво-лисье. Люди ходили с опаской, боясь повернуться спиной к противнику и скрывая эту боязнь.

Потом, когда они легли на отдых, Левенсон выставил на всякий случай двух человек. Немного погодя Ли-фу снарядил четырех. Тогда Левенсон прибавил еще четырех!..

— Тут совсем безопасное место,— сказал Ли-фу.— Давай оба выставим по пяти.

Левенсон даже удивился его тактичности: хунхуз повернул дело так, будто часовые выставляются против неведомого врага извне.

На самом деле ни один человек не распустил ремня и не сомкнул глаз в эту таежную ночь. Чьи-то заботливые руки беспрерывно поддерживали костры. Желтые смоляные искры всю ночь засевали небо. Под ногами часовых загадочно шуршали травы.

Временами Левенсон впадал в какое-то странное забытье, с открытыми глазами, и слышал с болезненной ясностью, как шипят на огне мокрые валежины, а в темном уснувшем ольховнике звенит по камню река. Она звенела как разменное серебро... Над головой Левенсона по мглистым нехоженым тропам бежали звезды — бесстрастные и холодные, как слезы Ли-фу. Они бежали всю ночь — извечным неустанным бегом — над жесткими морщинами Сихотэ-Алиньского хребта...

Наутро Левенсон выступил в поход, подарив Ли-фу нарезной мундштук — получив взамен листок красной бумаги с китайской печатью и надписью.

— Это наш пропуск,— сказал Ли-фу.— Всякий хунхуз будет знать, что мы друзья, и не сделает тебе вреда.

Весь остальной путь до Ракитного Левенсон мучил своих людей разведками, дозорами и караулами, а Ли-фу вынужден был забросить барак и искать стоянки на новом месте.

2

Вторая встреча кончилась гораздо хуже. Отряд хунхуза Ка-се набрел случайно на партизанский госпиталь в верховьях Даубихэ. Там находились в то время — единственный на всю повстанческую область доктор Сташинский, двое фельдшеров и несколько сиделок.

Приземистые госпитальные бараки стояли на стрелке у слияния двух ключей. Шумели над ними маньчжурские черноклены, а внизу под откосом день и ночь пели укутанные в серебристый пырник ключи. У гладкого ильмового пня, поджав по-корейски ноги, доктор Сташинский и старший фельдшер Ременяк пили «староверский» чай. У Ременяка были черные курчавые волосы, смуглое одутловатое лицо и вечно печальные глаза, задумчивые, как тростники. Казалось, они вобрали в себя всю неизбывную тоску по людям, которая снедает таежных одиночек у чадных костров — в отрогах Сихоте-Алиня.

Доктор говорил:

— На прошлой неделе я встретил в Утесном Ченьювая. Старик был в необыкновенно радостном настроении. У Сунги родился сын и, против обыкновения, не только не хиреет, но крепнет и здоровеет с каждым днем. «Он растет, как кедр»,—сказал Ченьювай. Если это правда,—а Ченьювай навряд ли станет преувеличивать,— так это чертовски занятная штука. Ведь племя одной ногой стояло в могиле. У них всего там три семейства, причем в одном — последний ребенок родился шестнадцать лет назад и какими-то судьбами выжил, а в остальных двух дети рождаются каждый год, но через несколько недель умирают. Сунга, в частности, уже похоронила двоих. Теперь я все больше и больше убеждаюсь, что всякие разговоры об «обреченности на вымирание» — сплошной вздор. Все дело в обстановке! Всего каких-нибудь два года, как люди стали жить более или менее сносно, и уже мальчишка «растет, как кедр».

— Я прививал у них оспу в начале мая,— сказал Ременяк.— Они действительно оправились. Во-первых, все выглядят здоровее, и даже в глазах появилось какое-то молодое выражение. Раньше они смотрели как-то безнадежно. А во-вторых, дом у них воистину стал полная чаша. Мяса сколько угодно — меня чуть не обкормили изюбриной. Хлеба тоже достаточно.— Ременяк выплеснул остатки чая и свернул папироску.— Я часто думаю,— продолжал он,— какое это счастье, что в прошлом году, во время чехословацкого переворота, про них как-то забыли и никто их не тронул. Этой весной они засеяли кукурузой две лишних десятины и, что всего интересней, не посеяли мака. Ни клочка! Ченьювай говорит, что раз съезд (это он про первый повстанческий... в Сергеевке), раз, говорит, съезд уравнял нас в одном законе с русскими, мы не станем сеять мака. От этого, говорит, опиума только дуреешь да лишняя приманка для хунхузов... Славный старик...

Но в это время снизу раздался выстрел, и пуля продырявила полу докторского пиджака.

Мгновенно ожили вокруг кусты, и быстрые, неслышные, как тени, фигуры в синих шароварах и круглых китайских шапочках сжали обоих суровым и тесным кольцом.

У доктора была редкая память на лица, и он сразу узнал Ка-се. Три с половиной года тому назад он лечил его от ножевой раны возле ключицы и не выдал властям, хотя знал, что это хунхуз.

— Цтоять на меси!..— властно сказал Ка-се.

Однако он тоже узнал Сташинского и удивленно отступил назад:

Доктор слишком долго прожил в этих краях, чтобы не знать, как полагается вести себя в подобных случаях.

— Да, это я,— сказал он сухо и строго.— Если бы я знал, что ты испортишь мне пиджак, я бы не лечил тебя три года тому назад.

Хунхуз приказал опустить винтовки. Ременяк облегченно перевел дыхание и проглотил слюну. Чье-то испуганное женское лицо выглянуло из ближайшего барака и тотчас же нырнуло обратно.

— Не надо боится,— сказал Ка-се с добродушной смущенной улыбкой.

У него было безбровое, изъеденное оспой лицо, и руки сухие и длинные, почти до колен.

Хунхузы развели костры и принялись за стряпню. Проходя мимо, Ременяк украдкой посчитал, сколько человек. Их было не менее тридцати. Он зашел в барак успокоить раненых. Перепуганные сиделки со страхом и любопытством выглядывали в единственное засиженное мухами окно. Ременяк услышал несколько жалостливых замечаний по адресу доктора, сказанных придушенным шепотком.

— Кто этот корявый? — спросила одна.

Ременяк прошел в палату.

Вихрастый, усеянный веснушками Кузьмич, выпростав из-под одеяла зашитую в лубки ногу, слезно просил отнести и спрятать его в тайгу.

— Вырежут...— скулил он, трясясь всем телом, кривя побелевшие губы.

— Стыдись, ведь ты — солдат,— сурово сказал Ременяк.

На дальней койке он увидел младшего фельдшера Хмару. Тот пытался изобразить спящего, но Ременяк видел, что он просто трусит. Его щуплая ободранная фигурка вздрагивала от нервного напряжения и неизбывной тоски...

— Разве можно теперь спать? — строго сказал Ременяк, тронув его за плечо.

Фельдшер испуганно поднял голову и снова уткнулся в подушку.

— Эх ты-ы...— процедил Ременяк презрительно и грустно. Он вынул из столика наган и, спрятав его под рубаху, снова вышел на прогалину.

Ка-се, прихлебывая из берестовой кружки, говорил:

—...Когда хунхуза плохо, его уходит в тайгу. Когда партизанка плохо, его тоже уходит в тайгу. Тайга хорошо и хунхуза и партизанка. Если хунхуза начнет стрелять партизанна, а партизанка — хунхуза, пойдет плохая жизнь. Нинто не могу отдыхать — везде смерть и нровь. Надо — союз. Надо — договор. Не нужно мешать один другой. Тебе снажи там в штабе: «Сташинска и Ка-се — шибно знаномы».

Он протяжно всхлипывал после каждого слова. Выбритый лоб покрылся мелними бисериннами пота: хунхуз допивал уже восьмую нружну.

— Ладно, я поговорю,— сназал Сташинсний. — А ты поговори с Ли-фу. Ведь он у вас самый большой начальник?

Ка-се вылил в нружку остатни чая и важно сказал:

— Ли-фу — шибно большой человен. Ли-фу сам все знает.

«Эх ты, нинимора»,— подумал Сташинсний. Однако он чувствовал, что Ка-се во многом прав — глухой таежный тыл должен быть обеспечен. И тан же, нан в свое время Левенсон, Сташинсний вспомнил о норейцах, гольдах и тазах. Нельзя разговаривать с хунхузом, не думая в то же время об инородцах. Он вспомнил, кан багровеет и злобно вздрагивает Ченьювай при одном упоминании о хунхузах. Еще бы! Это слово напоминает Ченьюваю десятни вырезанных семейств (а теперь их осталось тольно три!), сотни отобранных звериных шнур, неисчислимое нолйчество драгоценных пантов, целебного женьшеня и пьяного черного опиума — ежегодной разорительной дани. Сташинсний подумал о том, что повстанчесному ревному в Анучино совсем скоро придется заняться этим вопросом.

Под вечер хунхузы собрали манатки и тронулись вверх по правому ключу. Они выстраивались на ходу редной цепочкой и один за другим исчезали в темнолистой чаще. Неснольно минут еще доносился из таежной глубины сдержанный говор и лязг винтовок, мягкий шорох и треск. Ветки кучерявого клена долго качались на опушне, встревоженные последним человеком.

— Снатертью дорожка,— сназал Ременяк насмешливо. Он вытащил наган, поиграл им в воздухе и, продув зачем-то ствол, сунул за пояс.

— А где Хмара?— спросил Сташинский.

— Боюсь, что он меняет штаны — больше ему нечего делать.

— Не устроить ли зкспертизу, а?— сназал Сташинсний, зевая.—Ну и надоело же все, брат, до чертиков, ей-богу. Скоро мы будем разговаривать с тобой исключительно нецензурными словами.

Он снова зевнул, обнажив золотые зубы, и, понурив голову, побрел в аптену.

— Что за чертовщина!...— раздался через несколько сенунд его удивленный голос.— Янов Павлыч, иди-ка сюда...

Аптечная дверь была распахнута настежь, а внутри — все перевернуто вверх дном, нан после погрома. Три четверти из-под спирта валялись на полу. Большой аптечный шкаф со сломанными дверями зиял опустевшими полнами. Сташинсний бросился к столу, но он тоже был пуст. Непрошеные гости забрали все, начиная от бинтов и кончая последним ланцетом.

— Янов Павлыч, ты не заметил, был ли кто-нибудь из них пьян? Они вылакали весь спирт!..

Ременян обвел комнату своими печальными глазами и, заметив разбросанные по полу мелние склянки из-под лекарств, сназал:

— Они выланали не тольно спирт, но и все остальное, за иснлючением йода. Жаль, что тут не было мышьяка... **(На этом руколись обрывается.)**

Елена Лаврентьева





Елена Лаврентьева родом из Сибири. Закончив Донецкий désinститут, преподавала в учебных заведениях в Манеевке и Донецке. Сейчас работает в управлении Донецной железной дороги.



✪

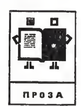
Удачи мало — не беда.
Работы всем на свете хватит.
Вот кто-то выткал эту скатерть,
что скромно служит мне года.
Две табуретки (за трояк
их продавал мужик сердитый)
удобны и надежно сбиты,
на кухне с коих лор стоят.
Сменить их не мешало мне бы,
да только нынешняя мебель
красива, если логлядеть...
А знаешь, каково сидеть!!
Бывает, дом окинешь глазом
и, сердцем оценив уют,
поймешь, сколь людям ты обязан
за их талант — обычный труд!

✪

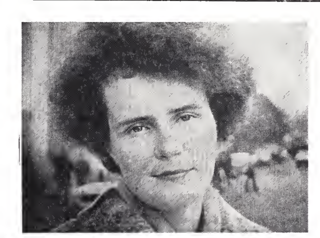
Зима в Донбассе странная. Она
То осень, то весну наломинает.
Вдруг хлынет дождь, случайный снег сминая,
И вот уже земля обнажена.
Помолодеют темные кусты,
повеселеют тихие тропинки,
и выглянут наивные травинки
на белый свет из теплой темноты.
Не ведая, что радоваться рано,
они погибнут, уходя под снег.
Такой урок коварства и обмана
выдерживает только человек!

✪

Белизна, безмолвие, безлюдье
и сугробы — скроют с головой.
Снегирек, сияя красной грудью,
прыгает по тропке голубой.
Помню: утром выбежишь — о, радость!
Еще больше снега во дворе,
ребятишек санные отряды
отовсюду движутся к горе.
Проникал в пимы и рукавицы
холод, но с утра до самых звезд
жили мы под небом, словно птицы,
храбро презиравшие мороз.







Татьяне Дубровской двадцать девять лет. Пять лет назад окончила консерваторию. Сейчас преподает в музыкальной школе в Пскове.
Предлагаемая читателям повесть — литературный дебют.



Татьяна ДУБРОВСКАЯ

ФАЛЬШИВАЯ НОТА

ПОВЕСТЬ

Моей щеки коснулся снег, я вздрогнула и обернулась... Кто выучил меня так быстро жить?.. Музыка? А я еще как бы не сняла после выпускного вечера светлые туфли, не стерла тушь с ресниц. Еще в ушах речь ректора: «Дорогие друзья мои! Всю свою жизнь помните заповедь великого пианиста Антона Рубинштейна: если я не занимаюсь один день — чувствую только я сам, два дня — чувствуют мои друзья, три — чувствует публика на концерте...» И не забыт еще запах новенькой красненькой книжки диплома. Неужели правда — моей? Никак не привыкнуть...

И, значит, не поздно воротиться, взлететь, задохнувшись, на четвертый этаж, пробежать, стуча каблуками, к тридцать второму классу, открыть дверь и начать все сначала...

Придвигаю к роялю стул, отодвинутый тетей Феней, сажусь, открываю крышку траурно-черного «Блютнера». Клавиши молчат холодно, как бы не знают меня. Неправда! Мои пальцы оставили на них свой след: пот, смешанный с пылью, даже чернильное пятнышко на «ре» второй октавы. Я вытираю клавиши носовым платком, и они, узнав меня, вызвякивают что-то простенькое и благодарное.

Ссутулюсь, нажму левую педаль и тихо, медленно поиграю для себя...

I

«Учащийся, если он находится в недостаточном положении, может с разрешения директора пользоваться принадлежащим консерватории инструментом, но только в самом заведении — на дом же инструмент ни в коем случае не выдается» [1].

Помнишь ли ты, что такое был первый урок? Что такое... Это утренний шестичасовой трамвай, и я вдруг одна в нем.

Я в новом, специально для консерватории перелицованном мамой бежевом пальтеце, в выношенных замшевых перчатках. На коленях портфель, разбухший от томов бетховенских и шубертовских сонат, тетрадей, учебников, задачников по гармонии и музыкальной литературе... Ай, нет!

Музлитература была в училище, а теперь—консерватория (никак не привыкнуть!) и, стало быть, история зарубежной музыки! Ах, какое счастье, что

[1] Этот и остальные эпиграфы — из «Инструкций или положений по Петербургской консерватории, составленных для руководства учебной и хозяйственной жизнью» (1865—1866 гг.).

Рисунки Михаила ТРУБКОВИЧА.

консерватория и история зарубежной музыки... Будет Бах, наконец-то «Страсти по Матфею» услышу, будет любимый Моцарт. Все еще будет...

А невыспавшийся трамвай плетется как-нибудь! Мне скорей бы поспеть в консерваторию, захватить класс, лучше всего тридцать второй, там рояль хороший, и позаниматься часа два до лекции по музлите... Ой, по истории зарубежной музыки!

Сегодня в четыре тридцать мой первый урок по специальности. Эшафот, выстроенный специально для меня. Что ж сделают? Ну, повесить вряд ли повесят — все-таки приняли, был страшный конкурс, человек десять на место. А-а, и повесить могут! Выгнать... Вон Шурик Балабкин из нашего училища, позапрошлого выпуска, вылетел-таки из Саратовской консерватории, а поступил с пятеркой с минусом. Ой, ну что запугивать! Шурик после сессии вылетел, не мог историю пересдать, мне же до сессии жить да жить. Всего лишь первый урок, а я и наизусть две сонаты выучила и в темпе хорошем играю. Да-а, легко сказать: играю. Играю самой себе, могу маме с папой, училищной учительнице Ядвиге Адамовне, еще кому-нибудь...

Всем могу сыграть. А вот Леониду Яковлевичу!.. Леониду Яковлевичу, профессору, который еще до революции учился у самого Николаева, мальчиком дружил с Софроницким... Леониду Яковлевичу, воспитавшему целую дюжину лауреатов и дипломантов, как играть перед ним?!

Можно, конечно, пойти и забрать документы. Учебная часть открывается в девять, а пока похожу просто так по консерватории, по белым высоким коридорам, загляну на прощание в тридцать второй класс, скажу роялю спасибо...

Но это подло — трусить так! Что дома объясню, в училище: побоялась Леонида Яковлевича? Ну и дурочка, скажут. К нему так стремятся в класс, даже из-за границы едут и летят. Вон когда я на консультации была дома у Леонида Яковлевича, к нему негр приходил прощаться — окончил уже консерваторию. Они говорили по-французски, а я сидела и хлопала ушами, поняла только, когда Леонид Яковлевич сказал: «Мон ами...»

Решено, я остаюсь! Явлюсь на урок (в конце концов, куда же я еду уже целых двадцать минут?). Смело взойду на шаткий, с неубранными стружками эшафот и... сыграю сонату Шуберта. Только бы руки сильно не тряслись и коленки не дрожали.

Я сыграю, и тогда начнется настоящее: кон-сер-ва-то-рия.

«Да,— скажет мне Леонид Яковлевич,— вы прекрасно поняли Шуберта. Мы почувствовали во всем этом Вену, венские вальсы, венские каблучки, венские стулья, вкусные венские булочки и кофе по-венски...»

И, может быть, я стану после этого урока самая любимая ученица Леонида Яковлевича...

С ума сошла! Что ты выдумываешь, ты, верно, не выспалась... Ты и Софроницкий — возможно ль такое?! В голове Леонида Яковлевича, в красивой седой голове его, бережно хранятся, как бы переложенные папиросной бумагой, великий учитель Николаев и великий пианист Софроницкий, и ты туда? Ты — почти из деревни, из своего нелепого Сада, от своих родителей-немузыкантов, любящих Грига и робеющих перед натиском Прокофьева, милых, заботливых родителей, которые пишут, что усердно солят на зиму грибы и капусту, а картошку уже выкопали... Нет уж, дорогая, поди-ка и забери документы!

Хорошо, заберу. Только... Только доеду до консерватории, зайду в тридцать второй класс и поиграю немного...

Тоскливо и сладко было терзать себя в пустом утреннем трамвае!

Тридцать шестой трамвай, кстати, идет почти от самого общежития до конечной — консерватории.

2

«Профессор выбирает себе адъюнкта или помощника с утверждения директора».

Каждый профессор консерватории имел поровну обожателей и злопыхателей.

Обожатели задыхались от восторга и глотали слезы. Злопыхатель произносил четко: всякий урок у Леонида Яковлевича, профессора консерватории, был не просто урок, но открытый урок! Профессор вступал в консерваторию, и она тотчас превращалась в образцовую клинику, класс — в операционную, рояль — в лаковый операционный стол. Демонстрировать было кому: ученики, ассистенты, педагоги других консерваторий и училищ, приехавшие специально, чтобы послушать и, по возможности, записать урок выдающегося педагога. Самые дошлые приносили с собой магнитофоны, раздражавшие, впрочем, метра.

Леонид Яковлевич садился за второй рояль, откидываясь на спинку удобного стула, и ловким быстрым движением закручивал ногу вокруг ножки стула. «Пра-ашу»,— бодро говорил Леонид Яковлевич и изящным жестом приглашал к роялю.

Ученики болели кто чем. Технической и эмоциональной недостаточностью, дурным вкусом, зажатостью, несобранностью — мало ли болезней на свете! Но профессор был готов к любой немощи. На своем веку он столько их перевидал, что не удивлялся, а обобщал все в одну — немощь молодости. Профессор не умилялся даже редкостному экземпляру: отсутствию слуха при наличии великолепной, элегантной свободы, дерзкой беглости. Или этакому: врожденный вкус, умная голова и — корявенький пианизм.

Метóда Леонида Яковлевича была в высшей степени проста. Сесть за один рояль с учеником — упаси бог! А если бы его и попросили, он бы вежливо и достойно возразил: «Ремеслу я не учу».

Леонид Яковлевич был выдающийся педагог. Он лечил старым, как мир, средством — словом. Собравшиеся купались в свежем потоке афористичных импровизаций.

— Вы играете музыку, купленную в магазине уцененных товаров. Унылую, выгоревшую, скучную, как драповое пальто до пят. А ведь это Шуман!..

— Помилуйте, что вы делаете! Зачем так выделять тему, ведь выделения не область эстетики!

Если лед внутренней зажатости удавалось растопить парой удачных афоризмов, то зажатость рук, особенно затянутое, как бы забинтованное запястье, всегда раздражала профессора и вызывала приступ отчаянной тоски. Лечить эти скучные «школьные» немощи надо было так же скучно и медленно, а профессор обожал рискованные темпы. Он был скорее хирург, нежели терапевт, и зловещим блеском скальпелей были знаменитые его афоризмы...

Вот что говорил про Леонида Яковлевича злопыхатель. Но я еще не знаю злопыхателей, для меня

мир един. Я готова, я ложусь под нож со старанием и любовью.

Ах, первый урок! Если бы взглянуть на все это сверху, как в настоящих клиниках, то вышло бы забавно. Вон чей-то рыжий затылок — это я сижу за роялем. А вокруг меня явно классическая гармония, черно-белая. Черные рояли, черные волосы и глаза, черные лакированные ботинки на ногах Леонида Яковлевича, черные очки у одного мальчика с нашего курса, Гарика. Холодная белизна клавиатуры подчеркивает торжественность момента.

И вдруг — лямц! — в этом классическом периоде я. Мой яркий затылок здесь, как диссонанс, я это чувствую и краснею за собственную бестактность.

Но подожди играть Шуберта: пусть все угомонятся, поправят очки, чтоб видеть тебя, раскроют уши, чтоб тебя слышать, заготовят впрок остроту (кто гениальней?) о твоей рыжине. Подожди и скажи, чем была для тебя музыка. Твоя, только твоя.

Это был как бы Сад... Сад, выросший и звучащий в самом центре нашей семьи. Но только мне одной были известны законы его роста. Я, единственный садовник, растила и холила его. Первая кусала его зеленые плоды и нисколечко не морщилась от горечи их. А вызревшие, они торжественно съедались моими родителями, интеллигентами в первом поколении, затем — родственниками, пришедшими в гости, наконец, просто знакомыми, случайно заглянувшими за ограду.

Однако никто не входил в мой Сад. Даже родители. Лишь иногда, когда я хозяйничала среди только мне понятных законов и обычаев моего Сада, они подсматривали за мной в щелку и радовались моему умению.

«Ну вот,— счастливо улыбаясь, думали они,— есть наконец и в нашей семье музыка. Как же она пришла к нам, нашей стала?.. Руки наши еще хранят в памяти брошенную землю, еще знаем мы, как стог сметать, корову доить, пахать. А дочка наша, кровиночка, плоть от плоти нашей, уже другое знает. Другая земля ей вовек дана, за ней она пускай любовно ходит».

Так мы и росли — я и Сад.

Были вначале хрупкие ростки, неуверенные, потом занялась вокруг свежая буйная густота. Сад вверх, вширь пошел, и, наконец, трудно стало продираться сквозь его вполне дикие заросли. А Сад еще подымался и грозил все взять себе в рост — желания, радости, неудачи, прошлое и будущее моей семьи...

Ну вот, а теперь поднять с колен похолодевшие руки и сыграть сонату Шуберта...

— Бабуся, ни пуха!

Гарик. Единственный человек, кого я здесь знаю, с кем могу быть уже запросто. И он тоже. Он сидит сбоку, и я, вздрогнув от его шепота, благодарно ему улыбаюсь. Он тоже первокурсник, хоть и старше меня на год. На вступительном экзамене по специальности он шел за мной (играл, между прочим, двадцать третий этюд Шопена, и очень здорово играл); на сочинении мы тоже рядом сидели и тему писали одну — «Реакционная сущность Луки». У Гарика шпаргалок не было, а у меня — полные туфли, так что я даже хромала. Мы получили по четверке и баллы набрали одинаковые. Всех первокурсниц Гарик зовет мамашами, меня почему-то — бабусей. Но я не обижаюсь.

Гарик, миленький, помоги мне! Выругай шепотом, сожми кулак, закрой глаза и, на всякий случай, уши. Я начинаю...

— Ну что же, весьма недурно. Весьма. Что у вас еще в программе?

Боже мой! Вот и самое страшное: «недурно». Шурик Балабкин предупреждал бояться «недурного»: ему тоже сначала «недурно» говорили, а потом выгнали.

Пропала... И как он это произнес: «не-здурно». Недурно! Да это когда никуда не годно, и он, чтоб пожалеть, чтоб не с моста в реку,— «недурно»...

— У меня... у меня Бетховен еще, шестнадцатая соната Бетховена, Леонид Яковлевич, я ее тоже... наизусть выучила...

Зачем говорю что-то! Ведь все равно уйду, заберу документы.

— О-о! Постарайтесь всегда быть такой обязательной: к первому уроку — наизусть. Только не «шестнадцатая», детка, а G-dur'ная.

Ура!.. «Всегда» — это значит, я буду на первом, и на втором, и на пятом курсе. Никто не собирается меня выгонять! Милый, добрый, прекрасный Леонид Яковлевич!

— Да, конечно, Леонид Яковлевич, G-dur'ная...

До чего же я трусливая! Ведь он произносит свое «недурно» точно так же, как тональность сонаты,— ге-дурная. Недурно, то есть прекрасно!

— Только выбросьте немедленно эту дрянную редакцию бетховенских сонат. Вы теперь не в музыкальной школе. Возьмите редакцию Мартиенсена или хотя бы Гольденвейзера.

— Ага... Да... я выброшу. У меня есть еще редакция Шнабеля, Леонид Яковлевич.

— Ни в коем случае! Дети до шестнадцати лет, детка, к Шнабелю не допускаются. Вы слышите, Владик, Рита? Так и запишите в своих тетрадочках: не до-пус-каются. О-о, Сева, неужели это вы? Я вас не видел по меньшей мере лет пятьдесят. У вас тогда, помнится, были короткие волосы. Чем же я обязан? Или у вас инфаркт? Что это вы держитесь за сердце? Ах, это живот, простите, не разобрал... Кстати, не играете ли вы эту шубертовскую сонату?

Оказывается, не одна я не причастна к гармонии. Вот еще один диссонанс. Некто, почти толстый, лохматый, очкастый, угрюмый, в тусклой фланелевой рубашке с расстегнутым воротом, не очень-то молодой... Или просто толстый.

— Н-нет, но я смотрел... н-немного.

Еще и заика! А может, струсил? Вот-вот, поиграйка и ты теперь...

— Тогда пра-ашу. Живо вылезайте из своего угла — и к роялю!

Леонид Яковлевич почти выкрикнул последнее, так что его «к роялю» прозвучало как бы: «К барьеру!» Это что же, дуэль? Между моим Шубертом и его, этого очкастого?

Первый выстрел еще только затакт, ля-минорный аккорд, но все уже кончено. Точно и навсегда...

О чем же ты думала, дурочка, когда живая была? О том, что Шуберт — это только десять листов нотного текста, которые надо срочно запихнуть в голову за две недели?

Неправда! И я так думала эту сонату, и я так хотела... Ах, как хотела бы сыграть так же, как он, этот толстый Сева, некстати вылезший из своего угла! И я, может, сыграла бы, да первый пассаж смазала, и пошло-поехало разъезжаться...

Зачем я здесь, я никогда не выучусь так играть! Мне больно слышать, как он играет... Он играет так хорошо, что я пойду и заберу документы. Уеду к маме, буду работать в музыкальной школе и тихонько играть что-нибудь из «Музыки отдыха». Шуберт не для меня...

Ах, но играть впервые перед всем классом, перед приезжими так страшно! Как будто надо раздеваться догола и еще не закрывать глаза. Тут человек двадцать, и все шепчутся, хихикают, что я рыжая.

А Севу слушают молча. Он не боится, он, наверное, консерваторский второгодник...

— Благодарю вас, Сева. Но с вашей педалью во второй части я не согласен. Или вам нравится педальный запашок?.. Итак, Сева, вы должны подготовить нашу милую первокурсницу к первому уроку. Пока что ей нечего сказать, Шуберт ей не послушен. Позанимайтесь с нею...

«Нашу милую первокурсницу»,— неужели это обо мне? Толстый лохматый Сева будет учить меня Шуберту?

Но я совсем не хочу! Я хочу учиться только у Леонида Яковлевича, у кого нежная седина и полоска на карманном платочке в тон серому, чуть с искрой костюму.

Вот-вот, а у Севы застиранная фланелевая рубашка. Зато слышала его Шуберта!

Слышала... И все равно! Я его боюсь, он какой-то... второгодник. Да, в конце концов я поступила в класс Леонида Яковлевича и весь год, весь четвертый курс училища мечтала только об этом! А про всяких там угрюмых, неряшливых Сев я слыхом не слыхивала. Несправедливо отдавать меня ему. Не пойду к нему — и все тут!

— Ну, так вы согласны, детка? Позанимайтесь с Севой. Не пугайтесь его. Он хоть и заросший, но мой аспирант и специалист по Шуберту. Я сам консультируюсь у него.

— Хорошо, Леонид Яковлевич... Спасибо, Леонид Яковлевич... Да, Леонид Яковлевич...

Пойду и заберу документы.

3

«Воспрещается курить в консерватории».

Мой Сад начался в марте. В лживом и прекрасном марте с дымным морозом по утрам, бездумными летними облаками и капелью в полдень.

Я уже давно, еще в начале третьего класса, заметила двух девочек с важно-усталыми лицами. Их важность происходила только от одного — от черных папок, которые они волочили за длинные тесемки по земле. Девочки были как бы маленькие рыцари, идущие «на вы» с черными картонными щитами. Нарисованных рыцарей я видела в учебнике истории для шестого класса, но куда любопытней оказалось подглядывать за живыми, вот этими самыми девочками с папками-щитами.

Я знала, что девочки ходят «на музыку», но что такое их музыка, мне было совершенно непонятно. Я смотрела, даже трогала потихоньку их папки, когда они случайно оставались в раздевалке; видела тусклое черное пианино, на котором они занимались с учительницей Галиной Ильиничной; знала, наконец, саму Галину Ильиничну (она вела у нас уроки пения), и меня вдруг стали волновать, прямо-таки раздражать эти внешние доказательства «музыки» девочек.

Ведь я любила петь, и пела разные песни, и знала от папы, что, кроме великих Некрасова и Пушкина, был еще великий Петр Чайковский, композитор, то есть сочинитель музыки, портрет которого был выпукло изображен на девочкиных щитах-папках...

До девочек я не сомневалась, что только папа знает о великих Некрасове и Чайковском. А вышло, что и девочки, жалкие второклашки, как бы причастны к моему папе, к Чайковскому и, самое главное, к Некрасову, к моим любимым стихам о Школьнике:

... Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок...

Мне стало обидно и немножко жалко себя.

Я тоже хочу «на музыку»! Я тоже хочу стать рыцарем и волочить по мартовскому снегу черную папку! Дайте мне все это, и я кинусь вослед ушедшим девочкам. Мне легко догонять их по маленьким, робким следам, даже не набухшим водой.

Я догоняю, догнала. Девочки уже порядочно сзади, но что там, за мартом? Дождался ли меня некрасовский Школьник?..

Сказать так — ничего не сказать. Самое главное — была музыка марта...

Прекрасная и лживая. Утром, когда я выходила из дому, был мороз, и я бежала поскорей в школу, чтоб согреться. А после школы, в полдень,— солнце, летние облака, раскисший, коричневый снег на дорогах.

Все начиналось и кончалось в марте. Кончался даже сам март, но должно было что-то вырасти из него (я умела уже такое чувствовать). Я ждала, я нетерпеливо хотела того, что должно было выйти из раскисшего снега, из летних облаков, из моей скуки и внезапного раздражения.

Вот тогда-то началась музыка. Я пошла на нее без папки-щита, у меня еще не было папки, так как в нашем магазине «Культтовары» они не продавались; у меня была только нотная тетрадка, обернутая в районную газету, тетрадка с одной-единственной исписанной строчкой: фа-фа-ми, ре-ре-до, фа-фа-ми, ре-ре-до...

Музыка, называемая «Петушок»! Это была даже не музыка — жалкий стук моих испачканных чернилами пальцев в ту дверь, за которой уже не март, а что-то другое...

Ах, как замечательно, что есть на свете музыка и что она уже знакома со мною, по крайней мере я протягиваю ей свою чернильную руку:

— Фа-фа-ми, ре-ре-до.

Я бегу домой вприпрыжку, от радости я бездумна, как эти летние мартовские облака. Я уже провожила, я прямо-таки выпроводила март со своего крыльца... А он еще не кончился...

«Евдокия Алексеевна скончалась сегодня ночью...»

Что это, какая еще Евдокия Алексеевна! Я знать не знаю никакую Евдокию Алексеевну, у нас и знакомых-то таких нет, не то что родственников. Есть тетя Лиза, мамина сестра, она живет в другом городе; есть бабушка Дуся — мамина мама, и была еще бабушка Шура — папина мама, но она умерла давно, когда меня еще совсем не было.

А... бабушка Дуся — это же... Евдокия... «Евдокия Алексеевна скончалась сегодня ночью» — это же о ней, о бабушке Дусе!

Она скончалась, так написано.

Как это, зачем она скончалась, когда все только-только началось? Фа-фа-ми, ре-ре-до. Ничего больше нет — одна моя музыка! Мой славный любимый Петушок, раскричавший всему свету, что я теперь дружу с музыкой.

«Ага, правильно, это нам телеграмма, маме и папе, они скоро с работы придут! Можно, я за них распишусь? Я уже умею расписываться: свою фамилию без последней буквы. А Евдокия Алексеевна — это, правда, моя бабушка, я только забыла, как ее зовут...»

Все, все забыла в своей петушиной радости! И как бабушку зовут и что март еще не кончился.

Но я и хотела, чтоб не кончилось, а началось! Только-только: фа-фа-ми... Я уже умею хорошо

играть на пианино! Правой рукой... Левой рукой... Двумя руками вместе... Фа-фа-ми, ре-ре-до... Играю так громко, что пианино дрожит и слетает с него на пол белый листок с наклеенными строчками: «Евдокия Алексеевна скончалась сегодня ночью...» Слетает специально, чтоб у меня спутался «Петушок». А он вовсе не путается. Я играю, играю, и с каждым новым разом мой Петушок бойчее клюет свои зернышки-нотки.

Бабушка не видела, как я играю. Ей писали, что я теперь учусь играть на пианино, но она не видела. Если бы она приехала из больницы и услышала моего Петушка, ей бы понравилось. Она же любила кур и долго-долго, до самой болезни, в колхозе работала птичницей. Ну, как бы вышло замечательно, если бы бабушка увидела меня за пианино! Взяла бы и приехала на немножко, одним глазком глянула бы, как я пасу Петушка, и поехала назад... Скончаться... А может быть, и передумала бы. Передумала и осталась, и мы бы пасли Петушка в четыре руки: бабушка в контр-октаве, а я — в первой, или наоборот, какая октава ей больше понравится. Я уже так научила играть двух девочек и одного мальчика из нашего класса, и мы играем быстро и громко. А у нас с бабушкой вышло бы еще лучше, потому что бабушка способная к музыке, мама сказала. Бабушка пела в церкви, знала все песни — и русские и украинские, даже сама песни придумывала... Мама радовалась, что я в бабушку: «Если из тебя толк выйдет, бабушке скажешь спасибо».

А теперь мне не сказать спасибо. «Евдокия Алексеевна скончалась сегодня ночью...»

И мне почему-то расхотелось играть «Петушка». Я вдруг подумала: я ведь знаю, что такое музыка. Это когда началось и скончалось. Когда кисло и сладко. Радостно и больно — и все вместе...

Я почувствовала такое, и мне сразу сделалось немного скучно. Мне даже расхотелось дальше учиться играть на пианино. Чему учиться, когда я все уже умею. Играю «Петушка» правой рукой, левой, двумя руками вместе, могу быстро и медленно, тихо и громко. Чему тут еще можно выучиться!

Мама и папа поехали хоронить бабушку, а меня не взяли: кончалась четверть, шли контрольные, и я еще простудилась. Я жила пока у соседки Дарьи Ивановны, мне было скучно с ней, хоть она и варила каждый день мой любимый жидкий клюквенный кисель. Мама велела мне слушаться Дарью Ивановну, и я слушалась, потому что мама обещала мне привезти что-нибудь из города.

И привезла! Последний бабушкин подарок — коричневую нотную папку с выпуклой картинкой (я еще не знала, что это лира). Торопясь, я развязала коричневые тесемки и ахнула еще раз: в папке лежала тоненькая синяя книжка с названием «Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах».

И мне снова захотелось учиться! Я уже знаю, что музыка — это вечный март с раскисшим снегом, бездумными облаками, скукой и болью... Но ведь так хочется знать еще, кто такая эта Анна Магдалина Бах, и почему у нее такое имя смешное, почти «Мандолина», и что записано в ее тетради, неужели мое: фа-фа-ми, ре-ре-до?..

А через два года я переиграла из этой тетради почти все пьесы — менуэты, волынки, полонезы — и отложила ее в свою тумбочку, где уже лежала ненужная, пожелтевшая по краям нотная тетрадка с мартовским Петушком.

И случилось чудо. Дверца в тумбочку закрывалась плохо, и раз утром я слышу изнутри чей-то писк. Раскрываю дверцу — чудеса!.. В тумбочку ночью забралась наша кошка Варвара и родила на моих нотах четверых котяток. Варя лежала обессиленная, слепые мокрые комочки тыкались ей в живот, она лизала их и не смотрела на меня своими усталыми глазами. «Ну, вот видишь,— не говорила она мне,— что я могла с ними поделать... Они непременно хотели родиться в этом чистом, белом домике, на этой синенькой книжке».

И до сих пор на выгоревшей синей обложке «Нотной тетради Анны Магдалины Бах» целы пятна кошкиной крови...

Трудно мне отлепиться от детства! Сколько ни отгоняла, бродят вместе со мной по консерватории Петушок и кошка с выводком котят... Впрочем, никому до меня дела нет, все глубочайше погружены в себя. Вот один: сутулый, лохматый... Я робко здороваюсь, а он не слышит. Или не видит... А навстречу другой: прямой, седовласый, в прекрасно сшитом сером костюме, в лаковых туфлях. Леонид Яковлевич сойдет с ковровой дорожки, чтоб пропустить Севу, и не вытерпит:

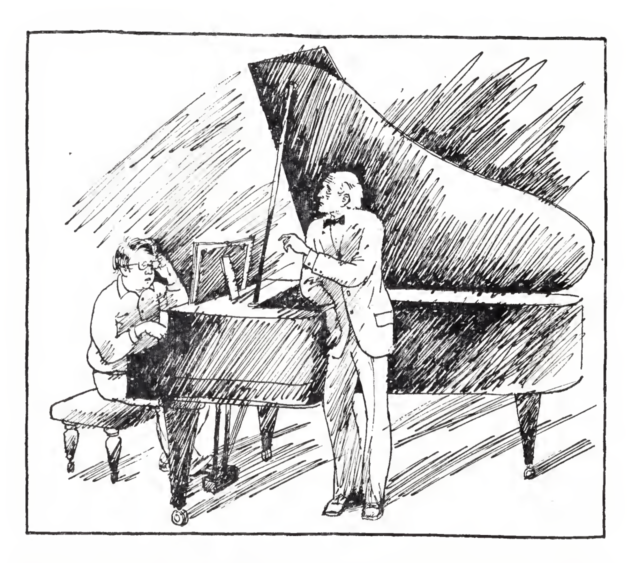
— Сева, вы стали до неприличия близоруки!

Возьмет его под руку и заходит с ним взад-вперед, стараясь попасть в Севин шаг.

— Севочка, за лето вы превратились в совершеннейшего бирюка. В чем дело? Вы не стрижетесь, не здороваетесь. Вы почти не бываете в консерватории. Вы разучились улыбаться... Да, вы стареете, Сева, а я, признаться, терпеть этого не могу... Я вам отомщу. В следующий раз вовсе не окликну, проходите мимо. Ах, Сева, мне грустно! В первый и уже, видно, в последний раз я обломал зубы. О вас, друг мой... В конце концов дело не в вашем теперешнем виде — бог с ним,— меня удручает, что и в музыке вы проглядываете схимником. Недавний ваш Шуберт убедил в этом. И знаете, я не удивляюсь, не возмущаюсь — я просто раздражен вами... Да вы права не имеете, голубчик! В конце концов прежде чем схиму на себя брать, монахом походите. Да-да, дружок: молодым грешным монахом! Ах, Сева, Сева, не сердитесь на меня! Я устал сегодня... Эта утомительная кафедра!.. Но в вашем Шуберте мне было зябко... А я хотел бы слышать в нем, кроме прочего, тепло и уют Европы. Именно, Сева, именно Европы мне не хватило! Да знаете ли вы, голубчик, что водопровод и канализация были в Австрии, в Зальцбурге, уже четыреста лет назад?! Взгляните, голубчик, на уютный опыт Европы с ваших дремучих высот, он заслуживает, уверяю вас...

Они ходили по торжественному коридору под руку, обычная консерваторская пара: профессор и ученик. Ученик молчал, свесив лохматую голову, а профессор говорил и немного брызгал слюной.

— Да, кстати, Сева. Я подумал и решил, что вы возьмете себе и эту первокурсницу, рыженькую девочку. Итого, у вас трое. Да плюс заочница Гринько. Ничего, ничего, конкурс еще не вдруг, а некоторое общение с молодежью будет вам на пользу... У этой славной рыженькой минимум «школы», а я, знаете ли, слишком стар, чтобы учить ее грамоте. Кроме того, ей необходимо «ортопедическое» вмешательство: выправьте ей «свод» в октавах, дайте поиграть что-нибудь лекарственное... Да я и не умею, Сева, учить грамоте! Сам жизнь без этого прожил, играл, как бог на душу положит. Посмотрите на эти руки: коротенькие сардельки, усыпанные старческой «гречкой». Скажите, пожалуйста, чему я могу выучить такими руками?! Нет, друг мой, это—ваше дело: у вас образцово-показательный аппарат. А я стар, и мне остался лишь мастерский глянец... Грустно, Сева! Да, я улетаю послезавтра. Сибирь, Дальний Восток... Гастроли



рассчитаны на три недели, так что где-нибудь через месяц я появлюсь в консерватории. Перед академконцертом приведите их всех ко мне. Для глянца, друг мой, для окончательного глянца...

«Дорогие мамочка и папа! Вот уже почти три недели я консерваторка. Не верю до сих пор! Сегодня во сне снова сдавала экзамены и провалила сольфеджио. Просто ужас какой-то!.. О том, что я в классе Леонида Яковлевича, я уже писала, но коротко. В общем, Леонид Яковлевич — это тот самый профессор, который зимой приезжал в наше училище и давал со мной открытый урок и еще сказал, что я светлая головка...

И вот Леонид Яковлевич взял меня в свой класс. Но не совсем взял. Как бы вам попонятней объяснить... В общем, у него есть аспиранты-ассистенты, и вот одному из них, Севе, он меня отдал. Теперь я буду не у одного педагога заниматься, а у двух сразу. Я только не знаю, как мне этого Севу звать: Всеволод Геннадьевич или Сева? Его все тут Севой зовут, а я боюсь: он пожилой какой-то.

Вы не расстраивайтесь, пожалуйста, что я у двух сразу. Ты, мамочка, я знаю, расстроишься. А вот и зря! Это даже хорошо. Один одному учить будет, другой—другому. Так здесь делают. Это ведь консерватория, мамочка, а не какое-нибудь музыкальное училище, где нет ни одного профессора и, стало быть, ни одного ассистента. Послезавтра пойду к Севе на урок, потом напишу...

Времени совсем нет. Встаю три раза в неделю в пять утра и еду в консерваторию заниматься до девяти, до лекций. Еще занимаюсь в общежитии, делим с девочками время. Инструмент, правда, никудышный. У меня уже есть одна подруга, Майя Шихразеева. Она флейтистка из Махачкалы...

Ах, дорогие мама и папа! Мне здесь очень хорошо, но я скучаю по дому и по детству. Передайте ему привет—этот желтый листок из моего Сада...»

Еще раз попробую этюд с самого начала. Вот так!.. Нет, слишком быстро, в таком темпе еще не сыграть, руки зажимаются, басы хватаю какие попало... До урока два дня, а еще фугу наизусть доучить. Разрешали бы на ночь в консерватории оставаться!

И все-таки сыграю. Отдохну и сыграю. Просто устала... Отойду от рояля, посмотрю на него сбоку, и — как в детстве — на что это похоже?

Голова черного бронтозавра — вот что такое! Мощно вытянутый затылок, длинно оскаленный рот. Не рот — пасть!

А если закрыть крышку?.. Тогда рояль — это всего лишь кусок черного льда, одинокий айсберг в тесном океане тридцать второго класса. А мне всю зимовку, все пять консерваторских лет полоскать в ледяной воде клавиатуры свои фуги, сонаты, этюды, вариации...

Но я хочу домой! Я ведь не привыкла все делать руками. Дома у нас стиральная машина «Рига-8», водопровод и уютное пианино. Дома тепло и современно.

А здесь, в консерватории, еще и не думают вымирать черные и коричневые бронтозавры (их тут целые стада пасутся), здесь полощут руками в прорубях. Здесь даже говорят, что девицам курить — уже не модно!

4

«Консерватории суть высшие специальные музыкальные учебные учреждения».

На истории зарубежной музыки с удивлением узнаю, что во время Французской революции была консерватория.

Какой-нибудь отчаянный Гаврош отодрал от булочной вывеску, на ржавой обратной стороне начертил углем: «Conservatoire» — и весело приколотил над распахнутой дверью.

Консерватория была тогда Приютом, и сколько сирот накормила, одела и отогрела она! Их первым учителем музыки был восторженный народ, их классами были гудящие день и ночь парижские площади. Первые консерваторцы учились писать фуги на тему «Марсельезы»...

А кто-то, в пыльном парике, брюзжал: «Приходится лишь удивляться, что есть люди, затрачивающие на овладение этим искусством столько времени, труда и сил. Если бы оно не требовало таких усилий, можно бы еще допустить, что кое-кто из любопытства потратит на это дело час-другой, как он проводит время за стрельбой из лука или за игрой в кости. Но в музыке надо изучить такое количество разных правил, что на это не хватит целой жизни. Это лабиринт: чем дальше люди отваживаются в него проникнуть, тем больше они блуждают. Сколько надо времени, чтобы выучить хотя бы ноты, до того как человек будет в состоянии петь по этим нотам или находить на струнах нужные звуки! Сколько существует самых различных инструментов! Человеку, захотевшему хоть бы немного играть на каждом, не хватило бы целой жизни, чтобы этому научиться. Какое бесконечное и бездонное море всяких трудностей должны переплыть те, кто хочет заняться композицией! Они умрут много раньше, чем достигнут пристани совершенства...»

Гаврош лихо свистнул на флейте, оборвал брюзжание. Какое им дело до смерти, когда они ушами, пальцами, губами чувствуют, что Французская революция и Музыка бессмертны!..

Ах, консерватория, консерватория, приюти и меня! Мне так больно чувствовать себя сиротой в этом мире, брызжущем пассажами и колющем электричеством трелей. Я так хочу понять этот терпкий язык! Нет-нет, я не перейду с этим миром на «ты», буду вежлива и скромна, всего лишь учительница музыки, но ты, консерватория, хоть чуточку приласкай меня...

Брожу по консерватории, как по новому Парижу: попадаю в величественную экспозицию — площадь ми-бемоль-мажорной сонаты Гайдна; прохожу мимо вокального класса и задираю голову вслед золоченому шпилю — восторженной фиоритуре сопрано; глаз не могу оторвать от державного течения виолончели.

Я брожу по великолепному городу, и никто не замечает меня. Я бесприданница. Со мной лишь диковатые заросли моего рыже-зеленого Сада, наивные пальцы в Моцарте — это никому как будто не нужное чувствование.

Приютит ли такую консерватория?..

5

«Адъюнкт совершенно подчинен профессору, к которому он назначен, в методе преподавания».

Второй, или третий, или четвертый урок у Севы. У толстого Севы, ставшего нечаянно моим главным педагогом.

Уроки с Севой так же отличаются от уроков Леонида Яковлевича, как европейская столица от районного городка. Там — шум, блеск, риск, гул восхищения, здесь — тихая заводь.

Мне обидно. Меня как будто без причины не пустили за границу. Всех пустили, а меня — нет. Мне обидно и... уютно дома. Нас только двое, я почти освоилась и уже не краснею перед Севой.

Сегодня Сева, наконец, не во фланелевой, а в шерстяной коричневой рубашке. Она ему идет — он умеет, оказывается, быть слегка элегантным. А вот то, что он постригся, мне вдруг неприятно... Как будто окончательно переболел лохматой молодостью, стал здоровым и скучным.

— Нет-нет, это совсем не Бах. Вы бормочете себе под нос. Ну-ка, что здесь написано?

— Поко артикулято...

— Именно. Тщательно произнося, то есть. Артикуляция — это произношение.

Неужели угрюмый Сева думает, что я не знаю про артикуляцию!

— Да, конечно, я знаю, Всеволод Геннадьевич, я книжку Браудо об артикуляции читала.

— Вот как? А я, между прочим, не читал. Все собираюсь... Послушайте, а может, вы мне расскажете? У меня времени нет читать, а тут скоро методику сдавать.

Он что, издевается?

— Я вполне серьезно, вы не думайте. Договорились, а?

— Да я с удовольствием! Только... только мне ж совестно. Я вам буду про артикуляцию вещать, а сама в ней практически-то...

— Ну что, руки опускать теперь? Заниматься надо. И не столько пальцами — ушами.

Итак, артикуляция — это произношение. Боже мой, как все просто! Вот ты говоришь с Севой, поешь, болтаешь и хохочешь в общежитии с товарками, плачешь иногда по дому, посапываешь во сне — кто же выучил тебя этому? Кто научил твои губы, язык, нёбо, связки где-то в теплой и темной глубине горла?..

Теперь взгляни на свои руки. Вот они, десять пухлых, розовых, чуть дрожащих пальцев... Пожалуйста, говори, пой, шипи, шепчи, ликуй, плачь, мурлычь, страдай — ими! Всеми вместе десятью и каж

дым в отдельности. Вот этим, первым. Толстый коротышка, как будет он вертеться на венском каблучке в третьей части сонаты Шуберта... Или этот худенький мизинец. Ему ли в удел пронзительная флейта, верхушка аккордов трехдольного марша в будущей твоей сонате Чайковского (не удивляйся, доживешь и до нее!). И зачем так некстати длинен и силен третий, когда любимый твой экспромт Шуберта сложен из идеальной ровности всех пальцев. Ах, как все не просто! Научите меня артикуляции, кто-нибудь, научите...

— Самое главное — это кончики пальцев. Подушечки. У вас как раз хорошие подушечки, мясистые. Теперь положите руку на клавиатуру. Нет, вот так: до-ре-ми-фа... Только тихо: два, нет, три, четыре пиано... Э-э, нет, не получается. У вас по крайней мере меццо-пиано. Еще раз, и медленно... Нет, плохо. Ну, представьте себе так, что ли: каждая ваша подушечка «набита» нервами, так вот обнажите один из них и тихо им прикоснитесь. Не пальцем, не рукой — одним-единственным нервом.

Я нажимаю нервом толщиной со штопальную иглу.

— Да нет, гораздо тоньше, тише то есть...

Итак, уже не артикуляция, не палец, не подушечка — нерв! На редкость дешево: подумаешь, помучить один-единственный! Даже если он не в одном, а в десяти пальцах. Даже если эти касания нервами по десять, сто, по десять тысяч раз. Даже если не только первый курс, а все пять консерваторских лет и еще всю жизнь.

— Это лучше немного... Все проверяется на слух. Качество звука проверяют уши. Палец...

Э-э, какой палец, Сева,— нерв!

— ...нажимает клавишу, а уши разрешают или нет двигаться дальше.

— А как же быстрый темп? Я не смогу в нем.

— Кто вам про быстрый темп говорит? Пока что все медленно. Вы сейчас пальцами как бы «рассматриваете» музыкальную ткань в микроскоп. Все увеличено, укрупнено: темп, динамика. И контроль ушей беспощадный. Где, кстати, ваши уши? Занавесилась кудрями...

Ах, для полного счастья не хватает только артикуляции!

Когда играешь, играешь и все зря, когда мозоль на пятом пальце — брось все, подойди к окну, раскрой его... Учись произносить музыку консерваторского города, как выучила другую...

Тот поселок, почти деревня, где я родилась, был еще не музыка — два несвязанных тоскливых звука. Вой ветра в печной трубе и далекий гудок паровоза...

Районный городок, куда мы переехали, стал уже музыкой — простенькой четырехтактовой мелодийкой «Петушка».

Был и есть еще город, перед консерваторским. Там я музыкальное училище окончила, и там живут мои родители. После районного «Петушка» я испугалась новой музыки. Она была уже настоящая! Я боялась, краснела, в автобусе не знала, как платить, а в конце концов оказалось, что эта музыка — всего лишь какая-нибудь соната Бортнянского, просто у страха глаза велики...

Ну вот, а нынче, сверху, уже консерваторский город покорно звучит подо мной. Уже не соната — целая симфония! И я, рыженький Бонапарт, предельно ускоряю ее коду и спускаюсь вниз... На улице шум, слякоть, очереди за виноградом, обрывки разговоров: «...возьму, говорю, отгул и в Ригу съезжу. Сапоги надо к зиме, кофту хорошую...»

Вечером в городе все равны. Даже Леонид Яковлевич, я видела, так себе — старичок в шляпе. Скучные, серые лица, одинаковые заботы. Вечером в городе мне хорошо. Все понятно, что делать. Занять очередь за болгарским виноградом и, подойдя к лотку, спросить вдруг три килограмма. Привезти куль с виноградом в общежитие и съесть всей комнатой за раз.

Отдыхай себе после занятий!

Но, стоя в очереди, садясь в пустой трамвай, глотая с косточками холодные виноградины, ложась спать, думаешь только об одном: «Ну почему, почему не выходит?! Поучила это место и медленно, и стаккато, и пунктирным ритмом, и так, и сяк... Ну, почему-у? Ах, черт, жалко, что уже двенадцать, а то, кажется, сыграла бы сейчас! Взяла бы и сыграла. Вот так... так!!»

Четверг для меня — святой день. В четверг утром я мою голову, закручиваю волосы на бигуди, отпариваю юбку. И так весь год, весь первый курс.

В комнате все знают: в четыре тридцать я иду на урок к Леониду Яковлевичу — и ко мне лишний раз подойти боятся. Я бледная и сосредоточенная. Заранее знаю, кто будет играть и что,— мой портфель, набитый нотами, закрывается с трудом. Сижу на уроке с нотами на коленях и, как первоклашка, вожу пальцем по строчкам.

Сегодня играет Гарик. Он не выпадает из черно-белого периода класса: на нем черный свитер, он в черных очках.

— Вы что же, голубчик, Моцарта в черных очках собираетесь играть?

В классе светло от серебряной головы Леонида Яковлевича.

— Да... Ведь «Вечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!» — он слепит мне глаза, Леонид Яковлевич...

В классе легкий гул. Такой маленький подземный толчок в 1,7 балла. Ага! Завидуете Гарику, воображули пятикурсницы с прокуренными голосами, лохматые аспиранты (Севы, впрочем, нет), учительницы из областных училищ?!

— В таком случае, не будет ли вам жарко в этом свитере? Ведь Моцарт не только светит, но и наверняка греет...

Явный толчок около трех баллов. Сразу смех, шуршание нотами, тетрадями, блокнотами.

Гарик покраснел, но очень легко. Положил руки на рояль и начал вдруг слишком нервно.

Я сижу во втором ряду, и мне видны Гариково длинное ухо и впалая щека. Гарик играет, сжав зубы, я это вижу по его напряженной щеке... Но все равно — играет хорошо. У него ясный звук, ровные сильные пальцы. Во второй части Гарик расслабился и даже стал кривляться немного.

Я посмотрела на Леонида Яковлевича — как он-то терпит такое в Моцарте — и испугалась, что он спит. Он сидел, откинувшись на спинку, закрутив ногу вокруг ножки стула и закрыв глаза...

Я стала слушать внимательней и сама вдруг как бы расплавилась, опьянела...

А в третьей части Гарик прямо-таки забавлялся. Пальцы его потешались, хохотали...

Молодец, Гарик! Я ему завидую. У меня нет таких пальцев и такого чувства ритма. Это у него от джаза.

— Спасибо, вы доставили нам удовольствие. Не правда ли? — Леонид Яковлевич раскручивает ногу и поворачивается к классу.

— Да, чудесный Моцарт, чудесный мальчик, кто

он, с какого курса? — шепчет моя соседка, худенькая учительница с закрашенной сединой.

Я ее уже второй раз вижу, она, кажется, из Архангельска или Вологды. Я краснею, как будто хвалят меня, и, пригнувшись, объясняю шепотом, что это Гарик, мы с ним однокурсники.

Леонид Яковлевич садится ко второму роялю и кладет на клавиши руки. Учительница из Архангельска вытягивает шейку, чтобы лучше рассмотреть. Потом приедет в Архангельск и будет рассказывать: «Ой, руки-то у него маленькие, веснушчатые, пальцы плоские!»

— Ну, а теперь на «бис». То же самое, пожалуйста...— Но Леонид Яковлевич прерывает Гарика на первой же фразе.—Вы начали этюд Черни, и славно начали. Но я хочу слышать Моцарта. Где же ваш вечный свет? Вы непоследовательны. У вас бодрое, но вполне заурядное утро без солнца. Нет солнца! А этот пассаж должен засветиться...

Леонид Яковлевич сыграл одной рукой, и мы с архангельской учительницей переглянулись. Что засветилось, где, как?.. Но Леонид Яковлевич уже закончил. Архангельская учительница даже рот приоткрыла от досады.

Гарик пробует — но снова бодренькое утро без солнца.

— Попробуйте медленней,— говорит Леонид Яковлевич и играет еще раз, медленно и тонко.

Что-то глянуло сквозь облака и у Гарика, и я обрадовалась. Умница Гарик! На лету схватывает.

— Нет! Это не солнце— электрическая лампочка в двадцать пять ватт, с такой зрение испортишь.

Гарик пробует еще раз, еще, еще, начинает злиться — я вижу по кривящемуся рту; и вдруг — удача!

— Дальше,— не похвалив, говорит Леонид Яковлевич и тут же останавливает Гарика: — Как вы представляете себе побочную партию?

— Ну... Это... Портрет возлюбленной,— говорит Гарик, и мне делается стыдно за него: так хорошо играть и так пошло ухмыляться!

— Возможно. Но тогда подробней. Кто она, какая и чья возлюбленная? У вас — гусара, бретера, кого хотите, а должна быть — Возлюбленная Солнца. По-вашему же. Как вы это сделаете?

Гарик пожимает плечами. Леонид Яковлевич бережно кладет на рояль правую руку, и я слышу, нет, вижу — чувствую! — нежный женский профиль.

Класс влюбленно затих... А я вдруг вспомнила, что забыла шепнуть Гарику «ни пуха» в начале урока! Я виновата, я... Гарик теперь не сможет так повторить. Он играет другое, Возлюбленную не Солнца и даже не гусара — что-то бледное совсем и немощное.

— М-м. Пожалуй,— устало говорит Леонид Яковлевич и закручивает ногу вокруг ножки стула.

Гарик сыграл всю экспозицию, неожиданно вяло сыграл, и Леонид Яковлевич с чуть приметным раздражением сказал:

— Учитесь перестраиваться на ходу.

Перешли ко второй части. Леонид Яковлевич не прерывал Гарика довольно долго. Он даже забыл закрутить ногу и отставил ее сильно в сторону. Так в восемнадцатом веке на клавесинах играли: ногу отставят, глаза умоляющие — на даму сердца, а пальцы плетут тонкое, трепетное кружево.

— Вы манерничаете,— заметил Леонид Яковлевич,— но, пожалуй, вам я бы отдал предпочтение перед трактовкой Моцарта в стиле а la старая дева.

Класс долгожданно рассмеялся. Не смеялась только архангельская учительница. Леонид Яковлевич закрыл глаза, пережидая смех.

— Знаете ли, манерность здесь оправданна. Разумеется, в легкой дозе. Ведь менуэт этот танцуют явно не пейзане — юноши и девы в париках... В связи с этим мне захотелось отвлечься и поговорить о роли образного начала в Моцарте...

Архангельская учительница выхватила из хозяйственной сумки общую тетрадь и лихорадочно стала записывать. Я скосила глаза: «Актерство допустимо в Моцарте. Моцарт дионисиец, жизнелюбец, ветреник. Оперы — высшее достижение дионисийца. Сонаты — это мини-оперы, есть мини-увертюра... Минимум действующих лиц. Он и она в диалогах, он — мужественный, властный; она — покорна, женственна...»

У меня глаза устали подсматривать, да и слушать куда интересней. Невозможно записать эту полувопросительную интонацию, этот изящный жест.

— Моцартовская речь трепетна и удивительна...— Тут Леонид Яковлевич замолчал, потому что отворилась дверь, и вошел Сева с толстым красным лицом, в черном, плохо отглаженном костюме.

Леонид Яковлевич молча кивнул и сел к роялю. Он перестал говорить, он снова играл Моцарта. Не только части фортепьянных сонат, но и темы из камерных, куски симфоний и опер. Он даже пел тенорком за Фигаро: «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный..» — дирижируя при этом воображаемым оркестром.

Я уже не понимала, что это — урок или творческий вечер маэстро? Гарик давно отвернулся от рояля, снял очки и слушает, восхищается, хохочет не меньше, чем архангельская учительница.

Леонид Яковлевич дарил Моцарта так легко, щедро и так много, что я вдруг устала.

Я обернулась и в углу, рядом с аспиранткой Ритой Александровской, увидела Севу. Рита Александровская всегда записывала на уроках Леонида Яковлевича. Тема ее диссертации — «Роль образного начала на занятиях консерваторского курса в классе фортепьяно».

Сева улыбнулся мне, поджав толстые губы, и я почувствовала, что у него не кружится голова от пьянящей легкости остроумия Леонида Яковлевича. И пиджак Севы был выгоревший и мятый, мне сделалось бы стыдно за Севу, если бы не стало вдруг так жалко... Мне захотелось встать и уйти с этого блестящего творческого вечера. Отдохнуть в скудной выразительности Севиного урока...

6

«Ученики обязаны дважды в год выступать в закрытых академических концертах».

— Ох, Гарик, кошмар, что я натворила! Даже рассказывать не могу, стыдно. Выхожу я на сцену... Нет, лучше сначала.

Перед концертом вроде настроилась, правда, руки вспотели, и я их об стенку потерла. Посидела на диване в артистической, как раз ты доигрывал своего Моцарта... Надо вставать, и я встаю. Поднялась с дивана, чувствую: все кончено! Ноги не идут руки по локоть отнялись, я их совсем-совсем не чувствую, хоть иголкой коли... Ты выскакиваешь со сцены— и ничего, даже не красный. Руки-то у меня отнялись, а соображать я соображаю, говорю тебе противным голосом, тихим и сухим, потому что слюна вдруг пропала: «Гарик, ты умница, поздрав-

ляю». А сама почему-то не на тебя, а в зеркало... Слушай, и зачем там только зеркало? Смотрю и думаю: ба, кто же это такой? Губы белые, и глаз нету, одни синие круги. Я ведь всю ночь не спала. Но надо выходить... Кое-как, деревянными ногами поднимаюсь, нет, волокусь по лесенке. И вот тут-то самое страшное — споткнулась! Да так, что почти упала, верней, выпала на сцену. Руки уже тут, а ноги еще там, в артистической. И туфля с ноги свалилась. Грохот ужасный! В зале смех, а я назад, не в чулках же играть. Надеваю и проклинаю примету, что на сцену только в старых туфлях. Они ж у меня разношенные, как тапки!..

Уже ничего не соображая, но чувствуя, что Бах во мне перетряхнулся, выхожу на сцену во второй раз. И думаешь, это все? Как бы не так! Иду теперь, как цапля, глаз от пола не отодрать. Подхожу к роялю — батюшки, а возле него стула нет! «Как же так,— чуть не плачу,— Гарик ведь только что Моцарта играл, неужели он стул с собой унес?.. И зачем я только за туфлей возвращалась, ведь примета плохая... Уж лучше бы в чулках играла, но зато сидя...»

И вдруг откуда-то издалека, чей-то очень знакомый, только не вспомнить чей, голос: «Сева, что это с нею? Почему она стоит?»

Поднимаю, наконец, голову и — о ужас! — вижу, что топчусь всего-навсего у стены, а вся сцена далеко уходит вперед, в зал, и где-то там еще один рояль и целых два стула...

Не представляю, как я после этих приключений ни разу не «заблудилась» в Бахе!..

А голос был Леонида Яковлевича. Бедненький Сева, он так за меня испугался! Спросил, не ударилась ли...

Сыграла, сказал, удачно, особенно прелюдию. В фуге-то мастерства еще не хватает...

В ноябре, когда маленькая зима, когда мороз и пальцы в перчатках мерзнут, когда мама напишет, что вяжет двойные варежки, так захочется домой!..

Дом будет в январе, и самая пронзительная музыка — от постаревшего маминого лица... Мои родители обзвонят всех родственников: «Приехала, приехала, так что ждем, приходите. Послушаете, как она теперь играет...» Я сыграю сначала свою программу: Бах, Шуберт, а «по заказу» баркаролу Чайковского, седьмой вальс Шопена... Потом все будут пить чай с лимонным пирогом, испеченным мамой, и жалеть меня: похудела, побледнела...

В обратный поезд сажусь толстая и румяная. Свешиваюсь со второй полки и разглядываю невысоких скуластых парней, бывших крестьян, которые стали теперь городскими рабочими. Они ездили домой, в деревню, на какой-то праздник. Они возбуждены и грустны одновременно. Пьют самогонку, почему-то фиолетового цвета, и закусывают вареным мясом. Самогонка сводит их лица судорогой: чуть отойдя, они яростно выдыхают злой дух и одобрительно трясут головами, вытирая выступившие слезы. А жены их веселые и курносые. «Я-то сама транспортница, в транспорте работаю»,— сообщает одна с гордостью и лихо поворачивает языком громоздкие городские слова: «транспорт», «транспортница»...

Засну на своей второй полке и проснусь уже в консерваторском городе, среди разноцветно светящейся перфокарты его новых районов.

«Начальство консерватории ведет надзор за поведением и действиями учащихся, только пока они находятся в здании консерватории, вне коей наблюдение его за учащимися прекращается».

И первый, и второй, и третий курсы — это ежедневные пятичасовые сидения за роялем и почти ежевечерние трехчасовые стояния на балконе филармонии. А после концерта — через весь город в общежитие. Вот оно, неумолчное, копошащееся, дымящее!

Сигаретка в музыкальных пальчиках и черный кофе в полулитровых кружках — обязательные условия ночного бдения.

— Перестань, Гарик! Юдина — гениальная пианистка, и все-таки совершенно играет Баха только Гульд!

— Хочешь, сыграю, как твой Гульд?

— Ты сначала Швейцера о стиле почитай. Майя, где мой Швейцер?

Майя Шихразеева, флейтистка и натуральная блондинка, «пропалывает» перед зеркалом брови. Она явно кого-то дожидается.

— Наверное, в двадцать шестой комнате.

Общежитие — это такой колхоз.

Общие стаканы, вилки, тарелки (прошлый их владелец — наш друг Общепит), бигуди, карандаши для век; общие два тома бетховенских сонат, учебники по русской музыке и диамату, и вот, пожалуйста, Швейцер.

— Бабуся, давай я тебе без Швейцера рококо изображу!

Гарик садится за рояль и начинает тихо дребезжать сухонькими аккордиками аккомпанемента. Истинный клавесин!

Девы, спешите счастие найти,
Юной фиалкой век вам не цвести...

— нежнейшим фальцетиком пропел-проговорил.

— Ой, какая прелесть! Это что такое?

— Французский шлягер восемнадцатого века... «Друга найдите вы во цвете лет, ветрен он — ветреными будьте в ответ...»

— Сдаюсь, сдаюсь! Гульд наверняка так не споет...

Завидую Гарику! Он играет все что угодно... Мой бог — Рихтер, а Гариков — Оскар Питерсон. Джаз для Гарика — все, сама жизнь. Настоящий джаз, разумеется. О вокально-инструментальных ансамблях Гарик говорит, что они так себе, озерко по сравнению с морем джаза. «Кроме «Битлз», конечно. Такая чистота интонаций, как у них, не у каждого оперного солиста... И все-таки джаз выше»,— говорит Гарик. Да что говорить, кумирню выстроил и служит своим богам искренне и верно: тратит все деньги на записи и пластинки, по ночам не отрывается от транзистора. Впрочем, эти жертвы доступны всем. Но Гарик сам играет, сам импровизирует. Я не умею и никогда не выучусь, хотя знаю об импровизации все. Головой. А слишком умная голова в этом деле — балласт, ее отвинчивают и выкидывают за борт, чтоб освобожденно плыть в ритмических волнах...

Но зато, зато — ах, как подленько мстительны эти консерваторки, не умеющие импровизировать! — на берегу, в консерватории, я почти отличница, а Гарик — троечник!

— Бабуся, слушай сегодняшнюю хохму. Захожу я,

беру билет — ни в зуб! Чего-то мычу, а он мне: «Ну, хорошо, а кого конкретно вы можете назвать из современных западных композиторов?» Я, недолго думая, пошел чесать: «Нетцер, Мюллер, Беккенбауэр...» Перечислил половину западногерманской сборной по футболу — он глаза опустил, не знает, что сказать. Мало ли на Западе авангардистов! Трояк поставил.

Гарик тихо, как бы в штиле, играет свое — и что ему теперь мои жалкие выкрики с берега...

Я люблю наблюдать, когда он так «плавает»... Он морщит прыщеватый лоб, улыбается, шепчет что-то...

Его уже два раза приглашали в оркестр, и он говорил, что ушел бы, если б не родители. Они тоже музыканты: отец — кларнетист в оперном театре, мать — хоровик в музыкальной школе. Родители слышать не хотят о джазе, для них джазист — только лабух, они боятся этого слова, как удара из-за угла. Их Гаринька, их маленький, их единственная надежда — и вдруг в некоем притоне, именуемом джаз-оркестром? Да никогда! Но самое смешное, что Гариков отец сам был лабухом, играл в ресторанах, клубах, кино. Для него это занятие было тяжкой повинностью, он долдонил на саксофоне в прокуренных фойе кинотеатров, а после «халтуры», умыв тщательно руки, принимал очищение Моцартом и Бахом. Гарика засадили с малых лет за овсяную кашу гамм, этюдов Черни и Лешгорна и нещадно травили бедные фокстротики, песенки из кинофильмов, которые мальчишка подбирал мгновенно и с удовольствием бренчал в школе на вечерах. Отец был суров: Гаринька окончит школу, потом училище, потом поступит в консерваторию...

И вот, знал бы отец!..

Я слушаю Гарика и не доношу его родителям. Что доносить? О восторге и зависти к их сыну?..

А мой собственный джазовый опыт даже не лужица, а так, стыдно сказать... Четыре популярные песенки с довольно-таки чахлым аккомпанементом.

Зато я буду хороший педагог, концертмейстер или ансамблист. Буду учить детей, буду аккомпанировать визгливым певицам...

— Роб пришел, Роб! — вскакивает Майка.

Вон оно что! Дождалась-таки...

— Добрый вечер, консерваторки и консерваторцы...

Роб — это Гариков друг. Гарик привел его к нам в конце первого курса и представил так: «Знакомьтесь — Диззи Гиллеспи районных дворцов культуры. Короче — Роб!»

Да уж, короче не бывает: метр пятьдесят, наверное. «Нет, серьезно,— сказал Гарик,— Роб — гениальный трубач». И коротышка мотнул головой, ничуть не смущаясь, а подтверждая, что да, гениальный.

— Что нового в храме музыки? Кому нынче молились: Бетховену, Листу?..— Как всегда, он слегка пьяный, но вежливый, с нами на «вы».

— Оскару Питерсону, Робик,— воркует Майка, наливая ему кофе, подставляя пепельницу.

— Это уже дело...

Гарик импровизирует...

Штиль кончился, легкий ветер надул его паруса, поддал темп и освежил наш слух бисерной сыпью пассажей...

— Узнаешь? — спрашивает меня Гарик.

— В общем-то знакомое...— неуверенно говорю я, пытаясь докопаться слухом до первоосновы, до темы.

— Это же «Мария». Помнишь?

— Дин Рид, что ли?

— Ну, конечно. Это же Бернстайн, «Вестсайдская история»...

Подергиваются в сложном ритме Гариково лицо, тело, а пальцы «одевают» тему в нечто нарядное, тонко блестящее...

— Бас бы сюда,— говорит Роб и начинает виртуозно булькать, изображая контрабас.

— А я на флейте! — Майка хватает футлярчик. Дунула раз, другой — и надо же! — попала в ансамбль, в тональность. Настоящее трио!

— Здорово,— говорю я,— такие все талантливые, куда уж нам...

— Ничего, бабуся, учи побольше философию — и ты научишься.

Такая шпилька.

У меня по философии пять, а он пересдавал два раза.

— Ладно-ладно, Гарик! Напишу я еще тебе шпоры, так и жди.

— Ох, бабуся, прости! Я в твоих шпорах, как в панцире... На вот, специально для тебя — классический рок-н-ролл. Роб, приглашай дам!

Но Роб приглашает не меня, а Майку. Они, конечно, очень друг другу подходят: сизые Робиковы глаза как раз на уровне Майкиных губ. Но танцуют здорово!

А я сижу на своей кровати и курю. Я тоже хочу танцевать классический рок-н-ролл, но одна же не выйдешь...

— Слушайте, вы прекратите или нет? — В дверях чья-то голова, обвязанная полотенцем, из-под полотенца торчат бигуди.— Нам завтра сдавать политэкономию: читать невозможно, известка с потолка сыплется...

— Напоследок «Take five»,— шепчет Гарику Майка, скорчив в дверь рожу.

А сама уже не танцует. Слушает нежно заплетающегося Роба:

— Майечка, вы восточная женщина, да?.. Царица Тамара?..

8

«Каждый учащийся в консерватории, избрав специальный предмет занятий, обязан сверх того изучать следующие предметы по роду своей специальности, а именно:

1. Фортепианист — теорию музыки, хоровое пение, камерную музыку, musique d'ensemble, историю музыки, эстетику, нотное писание».

«Нотное писание» преподаю... я. На частном уроке.

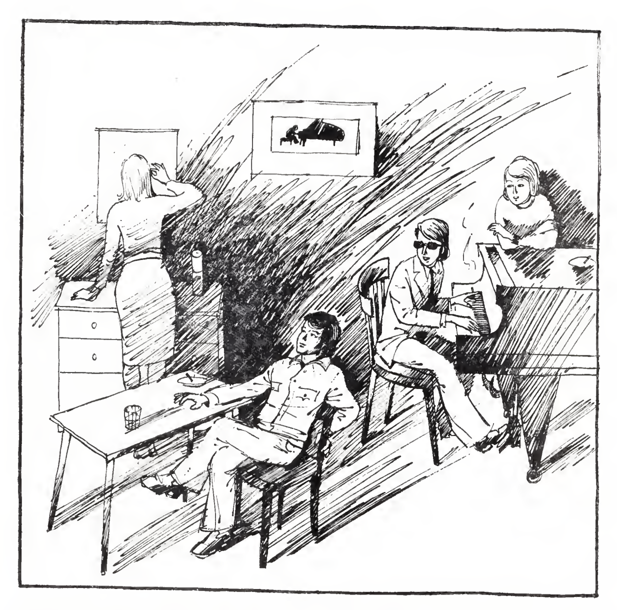
На втором курсе, когда с консерваторией уже на «ты», появляется первый частный ученик. «Хочешь ЧП?» «Что это?..» — трушу я. «Частная практика. Возьми ученицу, девять лет, девочка хорошая: отец — доцент в университете, книжки будет давать читать...»

Худенькая вертлявая девочка говорит мне на пороге:

— А я «Калинку» умею играть. Меня Ксюша из второго подъезда научила.

Играет ломаными пальчиками, выкрикивает с удовольствием: «В са-ду яг-года мал-линка...»

Я говорю: «Наташа, чтобы научиться играть на пианино, надо быть музыкально грамотным челове-



ком». Наташины глаза тускнеют, и я торопливо успокаиваю: «Музыкальных букв всего семь... Нотка «до» пишется на первой добавочной линейке...»

Я не уверена, не знаю, как надо брать за руку и вводить в Сад... Говорю, говорю. Чувствую, что слушает в соседней комнате Наташин папа, и путаюсь, краснею. Наташа зевает с закрытым ртом.

Зачем согласилась? Жила же на первом курсе без этих двадцати рублей — и хорошо жила!

Как это трудно — музыке учить! Как учить, чему?! Тому, что знаю,— просто, скучно: «Вот, Наташенька, скрипичный ключ... А это пять линеек, нотный стан называется...»

Наташа ерзает и зевает в открытую.

Учить тому, что чувствую, — позволит ли папа Марк Григорьевич?..

Впрочем, на втором курсе начинается методика, на третьем — педпрактика. Как учить, чему учить — мне расскажут. Я терпеливая и прилежная. Но прихожу на частный и шепотом, чтобы не слышал папа Марк Григорьевич, говорю: «Наташа, это бемоль. Видишь, он важный, с брюшком. Он ноту у н и ж а е т ! На полтона...»

Возвращаюсь в консерваторию и становлюсь как бы Наташей: «А я уже хорошо все умею играть!»

И вдруг:

— Как ты играешь! Что за манная каша! Это же серенада любовная! Ты любила когда-нибудь?

— Любила, любила,— говорю я, поеживаясь от трубного гласа над моим ухом.

Это бас Гурий Хлынов. Я буду аккомпанировать ему все четыре года. Если б только на специальности донимали! Со второго курса начинается класс аккомпанемента, с третьего — камерного ансамбля.

— Ну, и кисель развела! Это же Мусоргский, понимаешь?

Понимать понимаю: Мусоргский, вокальный цикл «Песни и пляски смерти», стихи Голенищева-Кутузова,— а играю целый месяц какое-то диетическое меню: «кисель», «манную кашу», «гоголь-моголь»... (В раздражении догадываюсь, что у могучего Гурия Хлынова барахлит желудок.)

— А теперь слишком зло! Тут ведь Смерть — другая...

Да, знаю, Смерть — главная героиня цикла — на маскараде жизни рядится то сердобольной нянькой, то рыцарем, изнемогающим от любви... Смерть взметает снег до небес, командует парадом мертвецов... Стихи я выучила наизусть, а что толку! Надо ведь Мусоргского играть, не Голенищева-Кутузова...

— Девонька, а сама ты думала когда о смерти?

Странный вопрос... Как все думают: когда-нибудь умру.

— Играй по-хозяйски! Смерть все устроит, упокоит под снегом...

Снег, снег... Смерть... Снег и смерть?.. Бело и сладко...

И я вдруг вспомнила...

Давным-давно, когда была зима, и холмы за окном покрыл снег, когда до весны и робкого Сада было еще далеко, музыку заменяли стихи Некрасова, с выражением прочитанные папой.

«Савраска увяз в половине сугроба...» — низким голосом читал папа, обожавший Некрасова, и я глотала детские свои слезы и не давилась: слезы тогда несоленые были...

Я слушала папу и смотрела в окно. Белый скучный снег... Под снегом мертвое лето: мертвые трава, цветы, мертвые бабочки и стрекозы... Под снегом мертвый Дарьин муж, и сама Дарья, я уже знаю, будет мертвой, и ее занесет снег... О, как холодно и страшно!.. По моим щекам катились слезы, но слезы были жизнь, а снег — смерть... Я сжалась в теплый комок и сладко и виновато чувствовала, что живу, живу!.. «Вот зачем я здесь, вот зачем!» — думала я и не могла растопить снег слезами...

— Ну, наконец что-то получается. Только не торопись, дай мне взять дыхание...

Через детство, через снег — к Мусоргскому...

— «Ох, мужичок, старичок, убогой, пьян напился, поплелся дорогой...»

И это обо мне, о моих прадедах и прабабках... Они стоят по канавам и терпеливо провожают меня взглядом: вот какова ты, которая занялась из наших заскорузлых рук и ног, из наших тусклых глаз и спутанных волос, из наших скудных, бессвязных речей...

Натыкаясь на пни и проваливаясь в сугробы, бреду по их земле...

— «А метель-то, ведьма, поднялась, взыграла...»

Залепило снегом глаза, свело пальцы... Но наконец из-под них трудно, хрипло заговорил Мусоргский!

Он — мое отчизноведение.

Выучившись, выйду однажды на свое последнее «поле брани» — государственный экзамен по аккомпанементу...

И Гурий Хлынов в последний раз встанет для тебя к роялю, а ты, уже положив на клавиатуру руки с мелко дрожащими пальцами, с готовностью посмотришь на его красное, усталое лицо, ожидая только тебе понятного знака... Вот он как бы дернется к тебе — и ты рванешь с места, с уютного и уже вспотевшего под твоим пальцем «фа» контрокатвы:

— «Грохочет битва, бле-ещут брони!..»

О, никогда не забуду бешеную скачку сердца в начале «Полководца»! Задохнулась, нечем дышать в грохоте пассажей и лязганье аккордов... Нет спасения... Но...

— «...пала ночь на поле бра-а-ни...»

Сухим, сломанным ртом хватаю опасный воздух экзаменационного зала. Ах, как свободно, истово поет Гурий Хлынов! Вот-вот просит победное:

— Я-а-вилась Смерть!

В нотах у меня акцент, так называемое сфорцандо, но я, побежденная, беру аккорд тихими, остывающими пальцами. Смерть является в кристальном пианиссимо...

Гурий Хлынов, прощайте и не пойте больше ни с кем Мусоргского. Забудете меня — пусть, только помните, как пела и плясала с нами Смерть...

9

«Ученики обязаны участвовать безвозмездно в качестве исполнителей в концертах музыкального общества, на музыкальных вечерах консерватории и в других собраниях во всякое время, когда потребуется, по усмотрению директора».

— Гарик, миленький, дай чего-нибудь пожевать! Мы с Майкой, как волки... Ну и было! Приходят вчера: ты, мол, в комнате, быстренько все организуй... Ой, какое варенье! Напиши маме, пусть рецепт пришлет, а я своей... Мол, срочно надо выступить на тракторном заводе, на главном конвейере. В красном уголке пианино, сцена — все, что надо. А знаешь, что вышло! Слушай, у тебя просто ресторанный выбор... Роб, наверное, был? В следующий раз пойдешь со мной! Тебе же это пара пустяков, будешь играть все, что из зала попросят.

Ну вот, собрались мы, поехали на «тройке» до конца. Ты был когда-нибудь? Такая громадина! Народу у проходной тьма, кому мы там со своей музыкой нужны!.. Ага, чай согрей... Ну вот, подходит такой мальчик беленький и говорит: «Вы из консерватории? Мы вас ждем». Повел... Не завод — целый город! Снаружи-то не видно, а главный конвейер — завод на заводе, несколько цехов. Красный уголок на втором этаже. Пришли, разделись. Народу мало, и все пожилые, а молодежь, парни на лестнице, курят и не заходят.

Да, самое главное — мне ведь концерт вести. Пока ехали, вроде придумала, а вышла на сцену — затрясло! На экзамене такого не было. Прямо передо мной рабочий сидит, лет так пятьдесят, смотрит внимательно. А что я ему скажу? Мол, сляпали концертик на скорую руку, вы уж нас извините...

Парни на лестнице кто ржет, кто хлопает.

— Здравствуйте,—говорю наконец.—Мы пришли к вам из консерватории. Мы у вас впервые и, если честно, испугались. Не ожидали увидеть такой громадный завод, целый город со своими улицами и проспектами и со своей музыкой. Ваша музыка громче, но и наша не чириканье. Мы очень хотим, чтобы вы нас услышали. Ведь у нас с вами много общего. Мы тоже рабочие. И на наших руках мозоли. Не верите? Вот посмотрите...

Что тут началось! Парни с лестницы повалили в зал, а рабочий пожилой надел очки.

— И вообще,—говорю,—консерватория — это тоже как бы завод со своими цехами и конвейерами. Только гораздо меньший, чем ваш. Вы делаете тракторы, мы — музыку...

Сказала — и страха вроде нет. Вышел баянист Коля. Слушали хорошо, а «Перепелочку» аж на бис. И вообще, знаешь, я теперь на народников по-другому смотрю. Вот кто действительно артисты! В лю-

бое время — только попроси — баян в руки и на сцену.

Потом мы с Верой. Певица Вера Ким, хорошенькая такая кореяночка со второго курса, перевелась из Новосибирска. Я сажусь за пианино, «Красный Октябрь», все будто в порядке, Вера в длинном платье, ручки сложила, я начинаю вступление, и вдруг — кря-кря. Кошмарная педаль! Останавливаюсь, пробую педаль так и сяк — крякает, собака! Ну, не уходить же! Играю без педали, это Рахманинова-то, «Я жду тебя»! Хорошо, что Вера скоро вступает — все внимание на нее, когда она наверх пошла да на фортиссимо — кряканья не слышно. В общем, спели. Вера молодец! Так выдала «Полюбила я на печаль свою», что парни «браво» кричали.

Майка, конечно, убила всех. Представляешь, Гарик, выходит этакая девушка с волосами цвета льна, да еще с восточным лицом, да еще с флейтой — и с баховской «Шуткой». Майке я вообще без педали аккомпанировала. А когда дело до моего Шопена дошло... Играть — не играть, думаю... А-а, плюнула, сыграю! Попросила не обращать внимания на педаль.

Сыграла.

А после концерта... Ну, Маечка, ну, расскажи!.. В общем, пришел тот мальчик беленький, культмассовый сектор, оказывается; сказал, что все очень хорошо, молодцы, спасибо, всех сфотографировал. А нашу Маечку отдельно! И рабочий пожилой пришел, он хромает немного. Руку мне пожал и говорит: «Ну-ка, ну-ка, где ж ваши мозоли?» Я ему мизинец показала, и он ничего, не посмеялся. «Вы не обижайтесь,— говорит,— за такой инструмент попорченный. Мы теперь его под замок, чтоб эти охламоны пальцем не тронули. Сам прослежу».

И пригласил осмотреть главный конвейер. Пошли, друг за дружку держимся, боимся. Культмассовый сектор объясняет; тоже Игорь, между прочим, и я его раз Гариком назвала. На конвейере, на сборке, парни такие серьезные, даже на Майку не смотрели, и у меня вся ревность прошла. А вообще будешь серьезным — кабины так и плывут, попробуй не успей! Один стекла вставляет, другой — руль, третий — сиденье. Да быстро так! Мы рты пооткрывали. А в конце конвейера девушка Галя крюком кабины цепляет, и те вниз, на первый этаж. Там трактор целиком собирают.

Видели, как из ворот тракторы выходят, ярко-желтые, нарядные...

Ну, Маечка, а теперь похвастай, как тракторы на стенде испытывают! Тебе же Игорь персонально рассказал, а?..

10

«Преподаватель должен прививать ученикам смирение и неутомимость».

Все, не могу больше! Каждый вечер одно и то же! Я уже ничего не соображаю, мой горячий мозг вот-вот закипит и выльется наружу, обожжет руки... А я буду сидеть, стиснув зубы, зло и пусто чувствовать новую боль и даже не подую на волдыри...

Боже мой, совсем с ума сошла!.. Брось играть, закрой крышку...

Вспомни вчерашний урок. Леонид Яковлевич сказал:

«Детка, в вашей прелестной головке куча планов, но где их выполнение? Вы фортельянный Манилов. Вы можете придумывать все, что угодно, но коли ваши руки не слушаются, грандиозные замыслы летят к чертям. У вас слишком много в голове и мало в пальцах. Оттого вы и суетитесь за роялем, а служенье муз, как вам известно, суеты не терпит. Вы не гармоничны, детка!..»

А Сева сегодня совсем другое:

«Вам обобщения не хватает. В конце концов музыка — это обобщение. Вы зажаты изнутри, вам освободиться надо. Попробуйте расслабиться... Смотрите хотя бы на стену... Вон на ту щербинку возле портрета Скрябина, видите? Пусть она временно станет для вас смыслом этой музыки».

Сижу вечером в тридцать втором классе, с ненавистью смотрю на свои корявые, слегка пухлые руки с дрожащими пальцами и розовато-синими, коротко постриженными ногтями. Сижу молча, а снизу, сверху, справа, слева меня донимает музыка. Умоляющие баховские интонации. Язычески одухотворенные гармонии Прокофьева... Благородный, изящный Равель...

Подойду к стене, охлажу лоб...

Сяду и буду смотреть на портрет Скрябина... Мы с ним вдвоем в темном тридцать втором классе. У Скрябина как бы японские, узкие глаза и брови, маленький, чуть раздутый нос, аккуратный подбородок... А однажды на этом подбородке выскочит прыщик — и Скрябин умрет. Космический экстаз — и смерть от прыщика...

Тело отомстило духу...

А вон щербинка на стене... Верно Сева сказал: обобщения не хватает. Играла сегодня Рахманинова, как цуцик... Надо совершенно расслабиться, опустить плечи...

Снова кладу на рояль отдохнувшие руки, и снова весенний поток рахманиновского концерта затопляет класс...

Буду играть долго-долго... Покуда не распахнется дверь и не оборвется от ее стука сердце.

Покуда уборщица тетя Феня не закричит весело с порога:

— Да что ж это ты меня подводишь, а?! Сказала на полчаса, а сама? Я, небось, из-за тебя тут заночую, вон окол пианины твоей лягу. Иди-иди, одно твое пальто и висит!

11

«Профессор обязан обращаться вежливо со своими учениками».

В один прекрасный день, в один прекрасный год!..

Новый год — мой любимый праздник и мой день рождения. Встречать Новый год Леонид Яковлевич приглашает к себе всех своих учеников: студентов, аспирантов, лауреатов... Правда, на первом курсе я у Леонида Яковлевича не была: ездила домой. Каждый Новый год Леонид Яковлевич ставит домашние спектакли. Сценарии пишет сам. На этот раз даже в стихах. Трагикомедия в пяти действиях «Любовный напиток по-консерваторски». Я играю саму себя, вернее, самого себя. «Рыжий юноша»— такая у меня роль. Что поделаешь, на фортельянах играют и учатся все больше девицы, парней мало. Да и те... Гарик, к примеру, не идет с нами встречать Новый год: Роб попросил поиграть в своем диксиленде вместо заболевшего пианиста. А Леониду Яковлевичу сказал, что едет срочно домой.

Бегу, подпрыгивая, и твержу вслух, пугая прохожих. Вхожу в образ: «Я псих! Разгладилось моих

мозгов плиссе, мне имя просто звук, и на него я плюну. Теперь я твой Ромео, пылкий, дерзкий, юный... Я ласковый твой королевич Елисей»...

И, между прочим, тащу за собой тяжеленную сумку с «реквизитом». Две ночи не спали, все готовили. Никто, видите ли, не смог пойти к Леониду Яковлевичу раньше, чтоб помочь готовить его жене Анне Вениаминовне. Мне и юношу играть, мне и сумку тащить, мне и помогать! Самая рыжая, в общем... Лифт, конечно, под Новый год не работает, ну да квартира Леонида Яковлевича на третьем этаже. Вот и пухлая, обитая кожей дверь. Звоню... Еще раз звоню. Кто-то неумело возится за дверью, путает замки, цепочки. Наконец, что-то верно и окончательно щелкает, я открываю рот, чтобы произнести: «Добрый вечер, Анна Вениаминовна, с наступающим...» — и тут же закрываю его, потому что на меня смотрят Севины неуверенные глаза. Почему вдруг Сева, он ведь не играет никакой роли... и почему он без очков?..

— Здравствуйте, Сева,— помогаю ему узнать себя,— и вы раньше приехали? С Новым годом!

— Д-да, здравствуйте, с Новым годом... Я тут поиграл немного... А Леонид Яковлевич с Анной Вениаминовной скоро придут...

И все это — через порог, и Севе не догадаться, что нужно меня впустить и взять из рук сумку, он, верно, думает, что я новогодний почтальон.

— Ну, тогда пойдемте, чего ж мы стоим. Новый год ведь, а мы с вами через порог.

— Да-да, конечно, я совсем забыл...

Здесь, оказывается, никого больше нет. Только Сева и я. И так вдруг странно видеть его не на уроке, не в консерватории — а дома, пусть хоть у Леонида Яковлевича... Он в моей любимой с первого курса коричневой шерстяной рубашке... Он такой вдруг... тихий, что мне тоже как-то не по себе.

Но, в общем, все хорошо! Специальность я сдала позавчера, получила четыре с плюсом, по концертмейстерскому пятерка, по эстетике тоже, осталась история русской музыки. А после, совсем скоро, каникулы: мамин лимонный пирог, вечер встречи в музыкальном училище. Интересно, будет ли Шурик Балабкин? Говорят, он уже отслужил в армии, снова поступать собирается...

— Леонид Яковлевич сказал, что нужно елку установить... Я вот пробую.

— Ага, хорошо, только надо отодвинуть немножко. Нам ведь места много надо для спектакля.

Заглядываю мельком на кухню — вот это да! Леонид Яковлевич, как видно, решил устроить форменный банкет. Шампанское, коньяк, всякие яркие банки... А это что? «Мартини...» Никогда не пробовала. Это, наверное, привез Олег Богуславский, недавний ученик Леонида, теперь — надо же — трижды лауреат! Ну ладно, хватит рассматривать, давай-ка лучше свою роль, ведь Олег Богуславский тоже будет.

«Ах, дядя Аполлон, меня вы пощадите! Простите дурачка — немножко он влюблен...»

Каково-то выйдет: пухлая Рита Александровская — Эвридика, а я...

— Я оттащил, посмотрите. Чтоб крепче — привязал к серванту.

— О-о, Сева, вы сообразительный какой! Ну-ка, крепко? Вполне.

Это не сервант, это горка называется, я знаю, у моей тети примерно такая, только победнее внутри. А здесь посуды, наверное, на целый полк. Да все хрусталь, фарфор, все дымчато-зеленое, нежное, матовое, несколько раз отраженное зеркальными стенками...

— Надо только чем-нибудь белым закрыть табуретку.

— Сейчас поищу.

Не знаю почему, но мне вдруг нравится быть с Севой вот так, не на уроке... Мне даже расхотелось играть в спектакле... Впрочем, нет! Будет Олег Богуславский, надо показать, на что способны нынешние консерваторцы!

Иду в кабинет. Сколько книг! На самом видном месте Томас Манн. Первый «Steinway», на котором я играла. Пришла на консультацию, руки вспотели... А рояль — дунь — заиграет. На нем же только что занимался Сева, вот его очки на пюпитре...

Так, что это?.. Афиша недавнего концерта в Малом зале. Леонид Яковлевич играл последние сонаты Бетховена, народу было пропасть... На ариозо из тридцать первой сонаты у меня слезы потекли, а Сева, кажется, увидел...

Бедненький, испугался, верно, моего звонка, выскочил без очков и ничего не видит... Оправа старая, совсем не модная... Ничего почти в его очках не вижу, хотя у самой уже далеко не единица...

Тр-рах! Бамц!

Что это? Кто-то что-то... Кто-то упал...

Я рванулась из кабинета и — о боже! — схватилась за голову.

Я ничего не видела, услышала только звон-н-н... Долгий, упорный, нескончаемо-нежный... Звенело все вокруг меня и во мне самой...

Когда же звон кончился, когда он прошел все регистры отзывчиво-доброго «Steinway», я увидела валяющуюся неукрашенную елку и опрокинутую горку, сразу ставшую старой и некрасивой... И гору битой посуды...

Все было кончено. Еще не начался Новый год и мой день рождения, но все уже кончено... Я жить больше не хочу...

Я вяло разглядываю Севу. Он без очков, сидит на корточках посреди дымчато-зеленой хрустально-фарфоровой лавы и что-то там выбирает.

— Я хотел еще покрепче, и что-то такое зацепилось,— тоненько сказал Сева и посмотрел на меня снизу, как бездомная собака.

— Вот ваши очки.— Я села рядом с ним на корточки.— Ничего... посуда к счастью, говорят... Только осторожней, руки порежете...

— Я уже порезал, вот...

И тут раздался веселый звонок, я пошла на деревянных ногах открывать, и вошел веселый, с красным носом и красными щеками, с запотевшими стеклами очков Дед-Мороз. Я проглотила слюну, которой у меня не было, и сказала серенько и торопливо:

— Леонид Яковлевич, Анна Вениаминовна, это я... Только вы не волнуйтесь, пожалуйста. Я вашу посуду разбила. Всю...

Как-то странно ахнув, из-за Деда-Мороза вышла Снегурочка в норковой шляпе и с трюфельным тортом в руках. Я вжала голову в плечи, и мне захотелось туда, в эту коробку, внутрь торта. Запрятаться там и умереть в коричневых сладких недрах...

Дед-Мороз вытащил из кармана клетчатый платок, протер очки и, бледнея и превращаясь в Леонида Яковлевича, повторил мое:

— Осторожней, Сева, руки берегите... Посуда, говорят, к счастью...

— Сева, но почему, почему! Он должен был закричать, выгнать, нет, выпихнуть нас вон! А он еще тосты произносил!..

Какое счастье вырваться на улицу после собственной смерти!

Не сговариваясь, мы выходим с Севой вместе. Опустив головы, мы сидели в разных концах стола,

пили из разных чашек, в глазах у нас был разный туман (я все-таки острее вижу!), и были связаны тоненькой ниточкой. Той самой, которой Сева привязал елку к горке...

— Сам не понимаю! Но зачем вы-то сказали, что это вы разбили? Он ведь все равно вам не поверил.

— Не знаю...

Мы идем в Новом году, и во мне продолжается звон...

— Я, как услышала, думала, лифт оборвался.

— А я видел, как она валилась, прямо на глазах... Я подскочил... и еще хуже...

— Я думала — потолок...

— А знаете, что Богуславский сказал? Рассматривал-рассматривал, потом через весь стол: «Леонид Яковлевич, почему мы пьем из чайных кружек?» А Леонид: «Тс-с... Режиссерская находка. Спектакль уже начался, Алик».

Я останавливаюсь, пораженная.

— Сева, как вы точно скопировали! Почему же отказались играть в спектакле?

Он тоже останавливается и робко на меня смотрит.

— Так ведь больше мужских ролей нет. Вы... ты... все забрала.

Я почему-то краснею и говорю быстренько:

— Еще что-нибудь такое расскажите. Вы ведь с Богуславским разговаривали. Я ничего не слышала. Как посмотрю на Анну Вениаминовну: улыбается, а у самой губы дрожат... И спектакль комом.

— Знаете что! Давайте говорить на «ты»!..

Ты!.. Мы идем по новому снегу, и мы вдруг — новые...

— Ну, пожалуйста, перескажу Богуславского... «Во Франции я был две недели. Париж в первую очередь, затем Руан, Марсель, Ницца... Нет, куртка австрийская. Пошлость — таскать из Франции шмотки. Францию надо видеть, Париж особенно! Я раньше прямо-таки уверен был, что Парижем меня не удивишь. Подумаешь, Эйфелева башня, Лувр — все, в общем, известно. А бродил буквально потрясенный. Да нет, ради бога, при чем здесь кабаки! Особый мир, воздух, совершенно неожиданная тональность Парижа. Это не расскажешь... А публика сытая чересчур. Принимает отлично, но при этом какая-то обязательность, заказное радушие. Ей бы не переживать — поесть вкусно, поспать мягко. В этом смысле публика ФРГ, Австрии, Англии куда выше. Особенно в Австрии: в Вене, Зальцбурге... Но Париж — это Париж! Да, кстати, в Ницце не удержался, попробовал, что такое рулетка. Просадил двадцать долларов!»

Я хохочу на всю улицу, на весь город — на весь Новый год!

Как, оказывается, Сева умеет смешно рассказывать...

— Здорово! Вылитый Богуславский. Но, Сева, почему вы... ты... так зло...

Сева сразу замолчал и сделался немножко угрюмым.

— Ты хочешь сказать, что я ему завидую? Не знаю... Начинали мы почти вместе. Он отличный музыкант, и все у него по заслугам. А может, завидую... Впрочем, у меня есть последний шанс.

— Ты о конкурсе?

— Да. Кстати... Я хочу поиграть тебе. Ты можешь меня послушать?

Я — его?! Воистину — Новый год.

— С удовольствием! А помнишь, когда осколки выносили, дворник сказал: «Ого! Вот это я понимаю — семейный разговор был. А что моя — хлопнет одно блюдечко...»



12

«Адъюнкт, небрежно относящийся к урокам с учениками, подвергается выговору со стороны администрации».

Сижу в холодном и полутемном (перегорели сразу две лампочки) тридцать втором классе. Сева опоздал минут на двадцать. Ввалился в класс и, тяжело дыша, сказал что-то вроде:

— Прости, такси долго ие было.

— Надо ездить иа трамвае, Сева,— сказала я вдруг очень взросло,— это дешевле и надежией.

Посмертная соната Шуберта...

Сева снял очки, я вижу его профиль.

Ох, как трудно «очистить» для Шуберта суетно заляпанный слух!

Во мие все еще дренькает посуда, скрипит снег под ногами... почему-то колотится сердце...

Не заметила в темноте, как он поднял и положил на клавиши руку...

Господи! Столько раз слышала Севу на уроках, на концертах в Малом зале и всегда мелко восхищалась внешиим — его пианизмом, тем, чего у самой иет и не будет.

А сейчас...

Ничего не вижу, прозревшая...

...Зеленый, зеленый Сад нежно и настойчиво забрал меня в свою сень, успокоил шелестом. Листья, цветы, прохладные яблоки касаются моего лица... Глубоко дышу воздухом добра, тишииы и одиночества...

О, играй же, играй!.. Ты не видишь, как горят мои щеки, ие слышишь, как останавливается сердце... Такое и есть музыка?!. Она тайна, и я не разгадываю... Невозможность счастья — и я согласна...

И вот ходишь по улицам, по коисерватории, равнодушная. От зиакомых бежишь, отворачиваешься.

— Что зто с ией? Ходит, как сомнамбула. Лекции подряд пропускает, перестала заниматься, классы не записывает.

— Ты разве не слышала? Говорят, у нее ромаи.

— Рома-ан?! Ну, накоиец-то. И с кем же?

— Да знаешь, аспирант у Лени, лохматый такой, играл в позапрошлом году иа Маргариту Лоиг...

— Ну еще бы, зиаю! Господи, иашла, кому мозги крутить! Он ведь бирюк, двух слов связать не может...

И вот наконец наяву то, что я видела во сне. Я сижу у иего в комиате, неожидаиио чистой и уютной. Вот его пиаиино, старый «Shröder», телевизор тоже старый, «Рекорд». Возле телевизора на стене лист картона. Тонкий профиль подиятого вверх лица, полузакрытые глаза, густой шлем волос.

— Кто зто, Сева?

— А зто я,— чуть хохотиув, говорит Сева,— тогда я без очков был, ие такой толстый. Это в десятилетке еще, одна наша девица прилично рисовала.

У меня сжалось сердце. Пусть бы молчал. Зачем мие знать о какой-то девице...

— Давай поужинаем, а?

Сева все делает сам, приносит и уиосит тарелки. Как он может дотрагиваться до посуды после новогодиего ужаса! А я теперь от Леонида Яковлевича за версту бегаю, особенио после того, как он отверг купленный классом вскладчину немецкий сервиз. Пришлось тащить его назад в комиссионку.

Как все страино... Сегодня утром еще ничего быть не могло. С девяти скучная лекция по эстетике, даже ие знаю о чем: писала письма. Потом полифония, я ее прогуляла: вместо иее готовилась спешио к аккомпаиемеиту (шумановский цикл «Любовь и жизнь жеищииы»!). Потом заиималась часа три по специальности — а урока-то не было! Мне сказали в учебиой части, что Сева заболел...

И вот я у иего. Пришла сама... Никакого гриппа не было и в помине. Он недавно откуда-то пришел: его старое коричневое пальто не просохло от мокрого сиега. Он просто не хотел идти в консерваторию, и мне вдруг стаиовится больно...

Но он рад мне. Я почувствовала это в его улыбке, в неувереииых глазах за толстыми стеклами очков...

Мы пьем чай с Гариковым вареиьем, но Сева не знает и хвалит мою маму. Мы сидим рядом, так близко, что я могу дотронуться до него.

— Я увереиа. Неужели кто-то может ие поиять твоего Шуберта! Это же как... истииа в последней инстаиции...

Он пусто смотрит на меия, хотя и улыбается, слегка поджав губы. Мы говорим о конкурсе, только о конкурсе и только о нем, Севе...

А на самом деле я тихонечко смотрю на его иебольшие руки, лежащие на колеиях. Они не молчат, они легко и нервно живут, в них еще тепла оставлениая иедавно музыка. Они вздыхают, тоскуют по ией, хотят иазад...

...Рука, живая и нервная, я слышу тебя. Моя рука совсем рядом с тобой... Научи мою, оживи...

Сева, ие повертываясь ко мие, даже — о ужас! — слегка отвернувшись, подиял с колеиа свою руку и медленно и тяжко положил ее иа мою, вмиг вспотевшую от страха...

А через два дия ои все перезабыл, он даже стал со мной иа «вы»!..

Я собиралась на урок, как иа собственный день рождеиия. Я сияла наконец вечиые еще с училища свитер и брюки, надела самое нарядное, зеленое, ажурной вязки платье. Да что платье! Я выучила назубок Третью сонату Прокофьева, зудила в тридцать втором классе день и ночь...

И вот урок. Перед этим я долго торчу в коридоре, прииимаю похвалы маминой вязке, даже набрасываю кому-то в тетрадку по гармонии образец вязки. Стою перед дверью и не могу войти. «Меж всеми избрал мой милый и сделал счастливой меия!..»

Накоиец вхожу — и что же! Вдруг равнодушный блеск очков... обычные ежеурочные слова... и самое ужасиое — прошлогодиие срывы «ты» на «вы».

— Здравствуйте... Что сегодня? Прокофьев... Так, давайте. Наизусть выучила?

И зто — все?! «Меж всеми избрал мой милый...» И зто после посуды, после чая... после рук и поцелуя... Он ведь пошел провожать меня тогда, и мы не смогли сразу разойтись в подъезде, его лицо столкнулось с моим, его холодные очки — с моим лбом... его странно шершавые губы с моей побледневшей щекой...

— Пожалуйста, начинайте.

...« и сделал счастливой меня...»

— Ну, в чем дело? Играйте же. Наизусть забыла?

— Да... забыла,— говорю я, ио иа самом деле не я, что-то другое из меия, жалкое, несчастное...

Сева тотчас с противиенькой любезностью ставит иа пюпитр иоты. С трудом проглотив ком слез, положив вялые руки иа ехидно оскалившиеся клавиши, кое-как, совсем ие упруго начиию вступительную дробь: та-та-та...

Вот так избрал меж всеми и сделал счастливой тебя! А раз так, раз забыл — пусть все летит в тартарары! Тра-та-та, та-та-та!.. Вот так, умница! Хлещи его прокофьевскими триолями! По лицу, по лбу, по щекам... Швырни последний колючий аккорд ему в глаза, пусть вовсе ослепнет, незрячий!

— Это лучше немного стало...

Отвернись и не слушай его противный тихий голос.

— ...и все-таки воли не хватает. Размагничиваешь ритм. Представь четкий триольный строй, поистине солдатский! Ни один солдат не должен выпасть из строя! Еще раз попробуйте начало, вот так...

Видишь?! Уже не ты его — он прогоняет тебя сквозь строй и лупит без жалости твою спину.

— Ну-ка... Нет, подожди. Вязко играешь. Собери предельно руки и попробуй чуть живее... Вот так, да...

Господи, да за что такая мука! Я уже не о нем, уж думать забыла в этом языческом топоте про руки да поцелуй... Валяюсь в пыли, поднятой крепкими упругими триолями.

— Ну вот, хотя бы так. Заниматься больше надо милая моя...

Что?! Милая... Никакая я не милая... Измучена Прокофьевым, в мокром платье, на голове вместо завитого хвоста — желтый пучок прошлогодней травы... Я красная и некрасивая, у меня глубоко запавшие глаза, а родинка на шее — вовсе не родинка, а бородавка. А он не видит, верно, раз говорит тихо, улыбаясь поджатыми губами:

— Ты придешь сегодня? Приходи, а? Будем телевизор смотреть, а потом погуляем немного...

прикоснуться к тебе, но даже, если захочу, ущипну легонько тебя или осторожно проведу мизинцем одну линию через лоб, нос, подбородок, подбородок, как всегда, плохо выбрит, и мой мизинчик начинает буксовать в черно-синей щетине. Ты, оказывается, не спишь. Ты раскрываешь слепые веселые глаза, поворачиваешься ко мне и целуешь куда попало. И это не ты... Ты будешь собой завтра, послезавтра или через неделю, когда я приду к тебе на урок. Ты просто положишь на клавиши руку, и я услышу мягкий пульс летнего утра.. Еще только предчувствие дня и жизни — но солнечный луч вот-вот коснется лба, бережно прервет сон и повелит раскрыть ясные глаза... Бетховен, Пасторальная соната...

«Полифония — это школа слуха»,— дежурно скажешь мне на другом уроке, и я радостно вернусь в ее первый класс! А теперь, дети, играем так: надо хорошенько слушать, как бы поймать в сеть слуха длинный звук... Ловите его, ловите! Выбирайте из спутавшихся водорослей трех других голосов... Хорошо!..

Растрепались волосы, склонилось к клавиатуре розовое счастливое ухо: получилось, получилось!..

«Кого любит бог,— вспоминаю итальянскую пословицу,— тот любит музыку...»

Какое это счастье — быть богом, хотя бы маленьким,— богом четырех голосов. Вот я вершу их, сталкиваю и разнимаю их, сплетаю из них джунгли и туда посылаю тему, а как-то она выберется, пустили ведь девчонку в одном платьице... Не бойтесь, говорю я, на то я и бог, чтобы обещать. Она выберется без единой царапины, осмотрите потом ее руки и коленки...

13

«Консерватории... имеющие целью образовать оркестровых исполнителей, виртуозов на инструментах, концертных певцов, драматических и оперных артистов, капельмейстеров, композиторов и учителей музыки...»

Общежитие — о чудеса! — еще открыто. Вхожу в вестибюль, прокрадываюсь мимо задремавшей вахтерши, да не тут-то было! У вахтерши, верно, абсолютный слух: она вздрагивает и, открыв запухшие глаза, зорко и строго оглядывает меня.

— Добрый вечер,— говорю я, скромно и настойчиво высвобождаясь из ее глаз, из этих отечески-монастырских пут. Я, между прочим, без пяти минут старшекурсница, а она здесь всего второй месяц, я даже не знаю, как ее зовут.

— Как же, вечер,— скрипит вахтерша, рыхло наваливаясь на стол,— уж утро на дворе, почитай!

Плевать, пусть доносит. Назло вахтерше стучу каблуками и только перед своей дверью перехожу на цыпочки. Но Майечка Шихразеева спит сном праведницы...

А мне никак не заснуть.

Что же со мной происходит!.. То восторженное удивление: вон он какой... То нетерпеливое, до страсти, любопытство: да кто же он?! Чем он играет: пальцами? сердцем? душой?.. Чувствует ли, когда играет, что со мной творится...

Ох, как хочется услышать собственный голос: «Ведь это любовь!..»

...Странно все до боли. Вот ты лежишь и будто бы дремлешь рядом со мной. Я могу не только

Просыпаюсь от стука. «Войдите!» — кричит Майка. Я высовываюсь из-под одеяла отругать Гарика, что так рано, и тотчас ныряю назад. На пороге культмассовый сектор, Игорь Демидов. Тракторный завод продолжается!

— Доброе утро! Вот не думал, что вы еще спите. Половина двенадцатого.

— А мы ночью занимались,— пищит под одеялом Майка.

Игорь пришел к ней, это ясно. И мне наконец не завидно! У меня теперь тоже такое есть — свидание, смущение... Сейчас скажет что-нибудь не то.

— Я тут фотографии принес. И еще... Договориться о будущих концертах.

— Да, но мы должны встать и одеться. Выйдите на минутку.

Игорь вышел, и мы, выскочив из уютных постелек, одевались и одновременно убирали бигуди, грязные тарелки. Майка даже пол успела подмести. И юбочку клетчатую надела. Этакий хорошенький подросток, восьмиклассница-пионервожатая.

Игорь стоял в холле, читал объявления. Там как раз наше: «Девятнадцатый нумер просит вернуть зеленый чайник, взятый на кухне второго числа. Обещаем вознаграждение».

Прихожу из умывалки — Игорь с Майкой уже сидят за столом и смотрят фотографии. Игорь в синем свитере, Майка в красной клетчатой юбке. Ансамбль!

— Ой, ну я-то! — вовсю кокетничает Майка.— Рот открыт, воротник набок. Ты что, нарочно принес?

Вот это темп! Они уже на «ты».

— Тебе не нравится? А, по-моему, ты очень хорошо вышла,— торопится Игорь. Он, конечно, не готов к такой непосредственности. Он даже покраснел в тон Майкиной юбке. Ему, наверное, года

двадцать два.— Вот певица Вера, вот баянист, я много напечатал.

И правда, много. Весь стол завалил. И на каждой фотографии — Майка. Майка улыбающаяся, Майка с флейтой у губ, Майка, надевающая сапоги.

— Мне теперь покою не дают! Когда снова придете?

— Что, понравилось?

— Неужели нет? Мы там подумали, неплохо бы вас закрепить. Надо переговорить с вашей администрацией. Оформить как шефство.

— Ой, да ну шефство! — закапризничала Майка.— Терпеть не могу это слово. Будем просто приходить и играть.

— Хорошо,— согласился сразу Игорь,— просто концерты, да?

Он покорно смотрел на Майку, и покорность была ему к лицу. Новая Майкина флейта! Пришел, оказывается, и с конфетами.

— Ура,— воскликнула Майка,— мой любимый «грильяж»!

Мы пили чай и разговаривали о жизни.

— У вас тут богема,— уважительно сказал Игорь.

— Просто убрать вчера не успели. И Майечкина очередь, между прочим.

Пусть знает заранее, что Майка ленивица, а то будет потом: такая-сякая...

— А портрет это чей? — не расслышав ехидцы, спросил Игорь.

— Герберта фон Караяна, австрийского дирижера. А этот — композитора Малера. Твой любимый композитор, правда, Майечка?

Портрет Малера подарил Майке виолончелист Саша Потапенко. Он приходил со своей виолончелью, как со служебной овчаркой, и за свою угрюмость был разжалован Майкой в рядовые обожатели.

— А это что за книга? Гете?

— «Доктор Фаустус» Томаса Манна.

— Можно почитать?

— Возьмите, только это сложно, о музыке. Нам-то сейчас читать некогда.

— Да, занятий, я слышал, у вас много. А сколько надо в день заниматься, часа два?

— Практически весь день,— попробовала я кокетничать профессией.— А впрочем, кому как. Майечке бы и двух хватило, она у нас способная.

— Нет, я не выдержу! — закричала Майка.— Я лучше повешусь! Два часа, подумать только! Дуть два часа, и все впустую. Я бы за это время двадцать печек раздула.

Мы говорили полувсерьез, мы-то уже привыкли к разговору-игре, в котором поощряются полутона, ирония и недосказанность. Мы даже не старались выиграть: Игорь пришел к нам в первый раз и не знал правил.

— Придешь? — спрашивает меня Сева.— Будем телевизор смотреть, а потом погуляем...

«Потом погуляем» — это всегда будет так: он неумело, почти под мышку, возьмет тебя под руку, и вы ходите взад-вперед возле его дома. Всякий раз окажется заново, что Сева ниже тебя, тебе всякий раз заново сделается стыдно за свой рост. Ты вспомнишь давнишнюю школьную привычку поджимать ноги в коленях и успокоишься: теперь вы равны. Вы ходите взад-вперед у его дома, проходите мимо стройки, отгороженной высоким забором. На заборе афиша, и это то, о чем вы говорите.

— Знаешь, до сих пор помню первую свою афишу. В десятилетке еще, классе в восьмом, играл в каком-то сборном концерте. Случайно, на другом конце города, увидел афишу. Был так поражен своей фамилией напечатанной! Даже пальцем потрогал...

И снова разговор о конкурсе, о концертных программах — все о Севе да о Севе...

Сама не знаю, что я хочу от него! Чтоб он расспрашивал про меня, про маму с папой... про Сад? Вряд ли ему интересно...

Но тебе уже слегка неинтересно и его слушать. Ты думаешь о другом Севе...

Да, пусть он сядет за рояль, снимет очки и тихо улыбнется мазуркой Шопена...

Господи, знаю в ней каждую ноту, сама играю ее, и она уже чуть-чуть надоела мне своею изящной неспешностью. А ты, что в тебе, наконец, такого?! У тебя слабые глаза, небольшие, почти женские руки, ты не отрываешься от пустого телевизора, ты равнодушен к своему учительству в консерватории... И немножко ко мне, я уже чувствую... Про себя я все знаю. Говорят, я добрая, и осколки разбитых сервизов все еще колют мое сердце и не дают заснуть. Я люблю родителей, не могу без музыки... Без тебя... Но отчего никто на свете не заплачет, когда я сыграю мазурку Шопена?!

Ах, да, пианизма еще не хватает. Пианизм, тысячу раз пианизм — и все в порядке: вот они, слезы. Только садится за рояль Леонид Яковлевич со своим блестящим, умным пианизмом, играет Шопена — и тоже никто не плачет. Цветы, восхищение, а слез нету.

И все-таки надо заниматься!

— По шесть часов. Иначе не выучишь к академконцерту...

Мы прощаемся. Сева провожает меня лишь до трамвайной остановки. Не хочу, чтобы его видели со мной возле общежития. И так уже разговоры... И Леонид Яковлевич очень странно... Я слышала, как он сказал намеренно громко: «Севочка, я приятно поражен вами. Вы похудели. Признайтесь, вы стали по утрам бегать?..»

— Ну, как Томас Манн? — спрашиваю я у Игоря. Он приходит к нам каждое воскресенье.

— Да... интересно... Сложно только, когда о музыке, и вообще... Леверкюн с чертом разговаривает, почти как у Достоевского, да?

По воскресеньям у нас в «девятнадцатом нумере» собирается целая семья: мы с Майкой, Гарик, Роб и Игорь. Роб умница, тихий скворушка,— а мог бы с Игорем поругаться. Игорь вообще инициативный мальчик, даром что без году неделю к нам ходит.

— Нет, я все отлично понимаю. Вот вы, например, пианисты, и это профессия нужная, я бы сказал, жизненно необходимая. Поглядишь, так теперь всюду детей на фоно обучают. А Майка что?! Эта флейта ее — нерентабельный инструмент.

Ишь, как скоро культмассовый Игорь стал распоряжаться Майей Шихразеевой! То подойти боялся... А Майка молчит, согласная. О, эти восточные женщины!

— Слушай, чего ты порешь! Майка будет отличной флейтисткой, а среди женщин это редкость,— с ленцой сказал Гарик.

— Ну и что! Лауреатом в Женеве все равно не станет, будет как миленькая сидеть в какой-нибудь дыре в оркестровой яме. Ты-то, небось...

Что мне в культмассовом Игоре не нравится, так это его манера вольготно использовать выуженные у Майки сведения о консерватории, музыкантах. «Лауреат», «Женева», «оркестровая яма» — все явно приобретено на свиданиях.

— ...Ты-то на флейту не пошел, фоно выбрал...

А пуще всего раздражает, что он называет рояль «фоно». Эдак по плечу: доступен, мол, и нам ваш профессиональный жаргон.

— Игорь, прекрати! Говори «рояль» или «фортепьяно».

— Ох, извиняюсь, фортепьяно.

«Фортепьяно» он выговаривает как «фортапяно».

— А что ты, собственно, ко мне привязался! — сказал Гарик, вставая из-за стола и идя к роялю.— Ничего я не выбирал, так само получилось.

Он начинает играть что-то свое, колкое и элегантное, и все сразу замолкают. Правда, Майя Шихразеева демонстративно вышла вон из комнаты, обидевшись за Игоря.

Но я-то знаю, что почем! Эта послеобеденная хула флейте, с чувством произнесенная Игорем, задумана и срежиссирована самой флейтисткой. Первая репетиция была примерно такова: «Ах, Игорь, флейта — это не мое дело. Знаешь, когда я была в Москве в позапрошлом году, мне один режиссер в метро предложил сниматься в советской версии «Шербурских зонтиков». Я отказалась и теперь так жалею, ты не представляешь...» Ну, а Игорь, добрая душа и послушная глина в руках восточного режиссера: зачем, мол, моей будущей жене на дудке играть? Киноактрисой быть, разумеется, тоже ни к чему, можно занятие и посолиднее разыскать. «Фоно», например...

— Знаешь что, Игорь,— говорю я, когда Гарик ненадолго замолкает,— Майка — флейтистка от бога! Ты хоть слышал ее? Одни губы чего стоят, а дыхание — как у чемпиона по плаванию. И никогда она свою флейту не бросит, она тебя просто за нос водит...

— Точно, чувак! — Роб по-братски положил руку на Игорево плечо.— Девушка с такими губами, да еще с флейтой — это бож-жественно!.. Еще греки древние флейтисток рисовали на этих, как их... вазыто... во-во, на амфорах...

— Слушай,— сказал Гарик, снова начиная играть, и мы снова замолчали,— ты сказал, что все теперь учатся играть на фоно. Но знаешь, если действительно выучатся все и ни один не возьмет в руки флейту, все, музыка кончится. У нас каст не существует. Ни среди инструментов, ни среди музыкантов. Кто бы ты ни был: третий ли кларнет в областной музкомедии, учитель в музыкальной школе, солист в «Ла Скала» — ты должен быть музыкантом. Это единственная мера. Так, по крайней мере, должно быть, а если нет, то при чем здесь музыка! Может быть, рентабельность, как ты говоришь, может быть, фортепьянный всеобуч...

— Да... да...— соглашаюсь с Гариком,— но только не музыка.

Сама что-то говорю, кого-то жарко убеждаю и остро чувствую, как проклевывается во мне чувство музыкантской неполноценности...

Нет у меня абсолютного слуха, нет «удобных» рук... Октавные пассажи, двойные терции — вся эта обязательная пианистическая кухня у меня тоскливо чадит... «Бабуся, хватит, стул просидишь»,— то и дело вытаскивает меня Гарик из тридцать второго класса. Ему не понять, как можно биться над одним местом по нескольку часов — оно у него само «выходит»!..

По высокому профессиональному счету я вряд ли музыкант... Больно признаваться! Впрочем, за три с половиной года к боли привыкаешь и даже не чувствуешь, что терпение — это достоинство...

И все же, все же!..

Сажусь играть Баха, и душа проглядывает сквозь раздражение, шепчет мне, что есть и другой счет, другая — единственная! — вершина... Она так изумительно высока, так непостижима, что доступней всего объявить и ее невозможной, но я играю Баха и нащупываю тайную тропинку...

14

«Для выдачи диплома на звание свободного художника требуется, чтобы ученик при отличном (то есть 5) знании главного предмета ни в одном из остальных не получил по экзамену менее 3-х баллов...»

Гарик приходит к нам утром, садится за наш разбитый рояльчик и негромко, остренько наигрывает мою любимую пьесу Дезмонда «Take five».

— Хорошо бы сейчас за город,— говорит он,— на лыжах покататься. Последний ведь снег...

— А давай просто так,— говорю вдруг я.— Ну их, лыжи! Как вспомню этот зачет на первом курсе! То костюма нет, то снег уже растаял... Из-за физкультуры чуть было до специальности не допустили.

— Так поехали? — Гарик встает из-за рояля.

Что это с ним? Бросил «Take five», мечтает о лыжах.

— Давай,— говорю я, слегка озабоченная,— только ты подожди, я чего-нибудь поспортивнее надену.

Ох, уж этот спорт в консерватории! Полненькие девочки и тощие юноши в шикарных финских тренировочных костюмах. С первого курса помню, как бегали 500 метров в парке возле консерватории, и пьяненький дядя вовсю потешался: «Ну дают! Ну бегают, а! Чисто сардельки... Да я проползу быстрей, чем вы пробегете. Эй, учитель, заводи секундомер, счас я вам, законсервированным...»

А, пусть его! За пять лет привыкнешь к насмешкам из-за своей неспортивности.

Неспортивности? Как бы не так! Вот ты выходишь к роялю, как будто взбираешься на трамплин. Бледная и сосредоточенная, садишься на стул и ждешь, пока разорвется сердце. Оно не разрывается, оно приказывает, и ты кладешь на клавиатуру готовые к броску руки. Вздыхаешь глубоко и, не закрывая глаз, бросаешься вниз... И рояль мощно взрывается двадцать четвертым этюдом Шопена! Но взрыв — только начало. Тебе еще перебороть себя, рояль, сцену. Где-то к середине, вдруг оглохнув от напряжения, начинаешь как бы вяло ощупывать себя: неужели это я... и все играю, играю... ну почему так долго... скорей бы конец какой угодно, только конец... бросить, опустить руки... И тут же, словно розгой по обнаженным нервам: вперед! Сожми зубы, вот так, крепче, и вперед, вперед... Пальцы теперь справятся, доиграют...

И когда, как в желанный берег, врезаешься в последний аккорд — так счастливо и так жалко покидать гудящую позади пучину!

— Гарик, я готова. Хотя бы на второразрядницу похожа?

Мы едем в электричке минут сорок. Гарик в темных очках, молчит. Я тоже молчу, но долго не выдерживаю: солнце слепит, и я чихаю, да так громко, что на меня оборачивается полвагона: «Девушка, будьте здоровы!» А Гарик даже не улыбается...

Мы выходим из вагона и медленно куда-то идем. Какие-то кусты.

— Вот тут-то я тебя и зарежу,— говорит вдруг Гарик, и я ступаю от неожиданности в глубокий снег. Гарик кривенько усмехается:— Боишься, бабуся! Не бойся, живи себе...

Снег набился мне в сапог, но я не вытряхиваю.

— Гарик, что вообще с тобой? Из-за двойки все?

Ему никак не пересдать двойку по политэкономии. А все, наверное, из-за черных очков.

— Ты, бабуся, как в первом классе: двойки, пятерки...

— Внучек, не передразнивай, а возьми хоть раз учебник в руки. Знаешь хоть, что такое прибавочная стоимость?

Он сильно поддал ногой ледышку, и та заскользила с легким стуком по разъезженной тропе. Я побежала за ледышкой, нарочно смешно припрыгивая, но Гарик не смеялся.

— Подожди! — крикнул он мне в спину.— Я ведь ухожу из консы...

Я поддала ледышку в последний раз, и она развалилась на куски.

— Из-за двойки уходить из консерватории? — снова глупо спросила я.— Гарик, да ты что?.. Ты родителям написал?

— У отца уже один инфаркт был, хватит.

— Но это же несерьезно!

— Что несерьезно, не своим делом заниматься? «Детка, левой ручкой отдельно, а теперь правой, а теперь давай соединим» — это твое дело, бабуся. Я могу играть свое, понимаешь? На черта мне этот пудовый Брамс, на черта лекции, экзамены. Я понял, никто меня не научит, что сам могу...

— Неужели никто?

— Никто! — так твердо сказал Гарик, что я споткнулась.

— Вот уж не знала, что ты хвастун...

— А, ничего ты не понимаешь, бабуся! Я не собираюсь ни в лауреаты, как твой Грачев, ни в аспиранты. У меня есть свое дело, и я буду заниматься им в любом случае, закончу консу или нет. Просто глупо тратить время...

— И все-таки... что ты собираешься делать? Свободных художников сразу армия поджидает.

— Ну и что, отслужу. Что я, в армии не пригожусь? Да в любой музвзвод. Понимаешь, я ведь не просто ухожу. Роб меня обещал в свой диксиленд...

— О, этот Роб! Еще один свободный художник!

— Ничего ты не знаешь, бабуся. Роб — талантливый парень, он и без консерватории, знаешь, как играет? В общем, это для начала. А потом видно будет. Съезжу к Лундстрему...

— Слушай, это все правда? Ты не треплешься? Я не верю.

— Она не верит! Да я уже Леониду сказал.

— А он что?

— «Знаете ли, Гарик, среди моих учеников четыре лауреата, пять дипломантов — но ни одного профессионального лабуха. Вы сделаете мне честь...» Потом поговорили, он вроде согласился. Ну, не могу я зудеть из года в год одно и то же! Концерт, соната, прелюдия и фуга, этюд, пьеса. Концерт, соната...

— Но это ужасно,— сказала я вполне искренне,— ты уйдешь, и вся наша семья распадется. Майка вон выйдет замуж. Каждую неделю теперь к родителям Игоря ездит за город. У них корова, будет пасти и на флейте играть...

— А чего, он парень вполне, ей такой и нужен, положительный с головы до пят... Слушай, бабуся,— Гарик вдруг остановился и посмотрел на меня в упор,— это правда, что ты с этим... Грачевым?

Я тоже остановилась и слушала, как кричат вороны, запутавшись в черных ветвях.

— Тоже мне, вкус...— начал Гарик с уверенным превосходством, и я изумленно посмотрела на него. Такой худой, длинный, в дымчатых очках, в замшевой куртке с меховым воротником... А у Севы тяжелое драповое пальто, которое толстит его еще больше, старушечья оправа, старушечьи зимние ботинки...

— Господи, он же как рыбина об лед с этими конкурсами! Каждый год, бедолага, мается! Классический неудачник, ты еще увидишь.

Я молчала, чтоб не задеть, не спугнуть внезапно появившееся... Гарик — тоже не музыкант?! Он... пианист... Да, только пианист, прекрасный подмастерье... Были же всякие... блестел пассажами Тальберг, а сиял состраданием Лист...

— ...Прости... я ведь ухожу из консы, но не из вашей комнаты и не от тебя, понимаешь?..

Гарик сунул свою руку ко мне в карман, где уже была моя. Его рука была холодная и крепкая, и мне стало холодно и больно.

15

«Ученик, часто и без уважительных причин пропускающий уроки, подвергается выговору, который принимается в соображение при постановлении о нем отметок на экзаменах».

Лежу на кровати уже третий день. Ни играть, ни есть, ни ходить на лекции, ни на частный урок... Сева не звонит уже неделю. О да, он занят, у него впереди конкурс, но неужели конкурсу повредит, если Сева снимет трубку, наберет номер и просто скажет: «Приходи сегодня, а? Будем телевизор смотреть, а потом погуляем...» И я сама не разрешу ему смотреть телевизор и гулять со мной. Он будет заниматься весь вечер, а я тихонько сидеть рядом...

Ничего не хочу! Слушаю, уткнувшись в подушку лицом, «Страсти по Луке» Кшиштофа Пендерецкого. Христос взошел на Голгофу-XX, и я, лежа на кровати, корчусь от жгучих терпких ударов бичей в оркестре. На первом курсе были другие «Страсти» — семнадцатый век, Генрих Шютц. До детскости чистая музыка. Как моя жизнь тогда... А теперь я знаю: музыка — это время...

— Ну, и вакханалия авангардизма,— говорит пришедшая с улицы Майя Шихразеева и убавляет громкость.— Ты что это валяешься? Сегодня же четверг, не пойдешь на специальность?

— Не пойду,— говорю я и вдруг вскакиваю.

Сегодня же Сева будет играть, как я могла забыть! Спешно переодеваюсь, кое-как закалываю волосы.

Равеля должен играть! Я ведь соскучилась не столько по Севе — по Равелю. Все Шуберт да Шуберт, да Бах, да Мусоргский, да вот Пендерецкий, а через час будет Равель. Кисейное платьице после недельного траура.

Прихожу самая первая и сажусь в угол, чтобы Сева меня не видел.

А он как бы испит конкурсом (последний шанс!): вял, бледен, подолгу не отпускает левую педаль. Устало снимает руки и не смотрит на Леонида Яковлевича. А тот вскакивает мгновенно:

— Мои ученики! Я, наверное, слишком молод, чтобы понять вас...— Леонид Яковлевич почти бегал по классу, и вслед учительскому бегу все прилежно вертели головами.

— Мне, мне двадцать шесть лет, а вам шестьдесят пять! У меня впереди вся жизнь, я, а не вы, еще буду любим, счастлив, смертен. Мне все внове, а у вас десять раз прочитанная, захватанная вашими же пальцами книга жизни. Я не умею вас учить! Бессмысленно мне, кудрявому, гладкокожему юнцу, убеждать вас променять бессмертие на грешок. Я молод, и я сдаюсь. Я должен выйти и почтительно, без стука, прикрыть дверь, чтоб не мешать вашей медитации. Я, пожалуй, пойду покурю в туалет, только, Риточка, угостите сигареткой...

Урок начался!

Леонид Яковлевич, задохнувшись, садится за второй рояль, играет из Равеля коротко и изысканно. Сева что-то возражает... Пальцами возражает. Леонид заводится, молодеет, предлагает Севе дерзкий юный темп, и Сева не выдерживает, отстает. Леонид ликует и хлопает в ладоши четвертями:

— Темп, дружок, темп! Не трусьте!.. Ах, Сева, то, что хорошо в Шуберте, невозможно в Равеле. Шубертовское простодушие здесь — это та простота, что хуже воровства. А духовность? Просто-напросто окажется бесполостью...

Когда урок кончается, я опускаю голову и остаюсь сидеть в углу. Пусть все уйдут, пусть Сева уйдет, и я останусь одна. Как раньше. Пусть все идет постарому...

Но Сева встает из-за рояля и, улыбаясь поджатыми губами, говорит мне тихо:

— Куда ты пропала? Не звонишь, не приходишь.

И я выскакиваю из своего угла навстречу Севе, и я счастлива! Выходим из консерватории вместе.

— Ну, как тебе сегодня шеф? Не в духе, по-моему.

— А по-моему, в ударе! Знаешь, я сегодня слушала каждое его слово и, быть может, впервые что-то поняла. Когда он сам заиграл, мне тотчас на ум пришло: роскошь... Не пошлая, не жирная роскошь вроде плюшевых занавесей, нет, хрупкая и невесомая, прозрачная, как севрская чашечка...

— Которую мы кокнули,— угрюмо сказал Сева.

— Ох, не вспоминай!.. Понимаешь, для него музыка — это роскошь, севрский фарфор, трепет алмазной грани... Нет, не то!.. Музыка не ради музыки — вот! — ради жизни! Он ведь не играет — музыкой любит жизнь... Да, да, не перебивай! Он любуется, наслаждается, нежит и холит жизнь. Вот откуда блеск его ума, его поразительное исполнение французов — именно французов, заметь! — его музыкантский шарм. Просто он угоден жизни. Он плоть от плоти ее... А мы с тобой... Мы, наверное, еще не родились, еще «агу» кричать не умели, а уже умели переживать, уже страдальчески закатывали слепые глазки. У нас уж очень культура переживаний высокая...

— Не знаю, не думал,— устало перебил Сева.— Я рассуждать о музыке не хочу, не умею. Я играть хочу. Мне необходимо играть. У меня больше ничего нет,— почему-то шепотом сказал он и сжал мне руку под мышкой.

И мне вдруг стало обидно. Все хотят играть, всем необходимо играть, у всех больше ничего нет, а как же я?.. Для чего я им нужна?! Или я щепочка, подброшенная в огонек необходимости?..

— Играй,— сказала я сухо,— играй себе, раз необходимо.

— Легко сказать! Пока ты не лауреат, ты никто. Будь хоть семи пядей во лбу. А станешь лауреатом, все двери на сцену откроются. Как будто волшебное слово выучил.

— Выучишь. У тебя ведь есть последний шанс... Ну, я побежала, мой трамвай.

— Не уходи,— вдруг сказал Сева,— пойдем ко мне. Мама приехала...

Мама! Господи, у тебя есть мама. Я думала, ты один на всем свете.

Мать вдруг моложе своего сына! У нее загорелое лицо с широко расставленными выпуклыми коричневыми глазами, яркие ненакрашенные губы, девичья стрижка.

— А я-то думаю, в чем дело! Выхожу из самолета, еду в автобусе, в трамвае — все в этих самых полушубках. Ну, думаю, пока я с юга вечность не выезжала, здесь униформу новую ввели. Значит, говоришь, эти полушубки называются дубленки?

— Да, дубленки,— смеюсь я. Мне все нравится в Нине Константиновне: милое живое лицо, уютные полные руки, мягкое, с придыханием «г».

— Юг — это действительно жизнь! У нас все откровенней, проще, у нас не мелочатся из-за копейки. На юге даже умирать не страшно. Кстати, Весик, мне в управлении уже точно сказали: институт искусств открывается в этом году. Давай-ка домой! Сколько можно по частным квартирам болтаться...

Я вдруг жалко краснею и начинаю теребить пальцами распускающуюся складку на юбке. Я чувствую, что на меня никто не обращает внимания. Разумеется, Сева представил меня: «Знакомься, мама, моя ученица»,— но сделал это с таким вдруг внятным безразличием, что во мне тотчас оборвалась тоненькая счастливая ниточка, вытянутая из кудели недавнего одиночества. Но уже пошли-поехали обязательные для знакомства разговоры и рассматривания: она — в упор, с головы до ног, всю насквозь (кто такова, зачем пришла, откуда это право называть своего учителя на «ты»)... Я что-то говорила, непрестанно краснея...

А потом, уже в общежитии, мне долго не заснуть, лежу с открытыми глазами и успокаиваю себя, что бессонница просто из-за какого-то идиота, мутно играющего над нами упражнения Брамса.

Но Сева, Сева!.. Почему он ничего не сказал обо мне, ничего такого... Ну, хоть бы немножко заикнулся, хоть в интонации потеплел. «Знакомься, моя ученица»... — и это все, и я ему только ученица!

Даже Майка вчера заметила: «Что с тобой? Худая, зеленая...» И когда я рассказала... так, немножко... она покачала головой: «Да-а... Знаю я этот тип. Гениальные музыканты! Они заняты только музыкой и в лучшем случае собой, с какой стороны ни подойти. С ними безумно сложно!.. Посмотри в зеркало, ты же извелась...»

«Да нет, Май, я просто много занималась, устала».

«Тоже зря! Удел все равно один — учительница музыки, так какого черта! Я это на первом курсе поняла... Ссутулиться, испортить зрение... Для чего?! Чтобы какая-нибудь бездарь в музыкальной школе ковыряла под твоим руководством «Болезнь куклы»? Нет уж, спасибо, предпочитаю остаться здоровой и молодой... Послушай меня и прекрати жертвы!.. Поехали с нами в воскресенье за город... И выкинь наконец этот свитер! Он же на тебе, как балахон... Что значит «удобно играть»? Прежде всего это неряшливо. Давай распускай, а я свяжу тебе последний крик — шапку с «косичкой»... Между прочим, Гарик снова звонил. Знаешь, прибереги его, не пробросайся. Еще вопрос, гений ли твой Сева. А Гарик — это Гарик, хороший парень, только бы не спился... Хватит, хватит тратить себя на иллюзии! Я это вовремя поняла и сейчас отдыхаю. Теперь я на первом месте, Игорь буквально нянчится со

мной... Знаешь, я подумала, и, наверное, выйду за него замуж. Никого я лучше не найду».

Слушаю Майку, покорно начинаю распускать свитер, а сама с тайной тоской вспоминаю недавнее...

...Однажды, когда мы сидели с ним возле телевизора, погас свет... Сам погас, мы не выключали! И мне сделалось немного страшно. Я сидела не шевелясь и не дыша, и Сева, кажется, тоже... Мы долго так сидели, а свет все не зажигался... Сева заговорил тихо-тихо: «Я не знаю, что это... Я так долго был одинок: ни матери, ни сестры. Уехал из дому в двенадцать лет... Десятилетка, консерватория — все в одиночестве. Каждую клеточку своего тела приучил молчать... И вдруг ты... Мне так легко с тобой, ты меня оживила. Не знаю, как благодарить тебя...» Он нагнул лохматую голову и стал целовать мои руки и трясущиеся, как на сцене, коленки... Мне стало страшно, что сейчас свет зажжется и все кончится... «Не уходи,— жалобно попросил Сева,— мне будет так плохо без тебя... Останься...»

16

«Директор, инспектор и преподаватели, достигшие 75-летнего, а преподавательницы — 65-летнего возраста — увольняются».

В среду долго сижу в тридцать втором классе, жду Севу. Он обещал зайти за мной и проводить до остановки. Всего лишь. Но мне и этого хватит. Сейчас, когда до прослушивания осталось две недели (когда дома его мама!), ничем посторонним заниматься нельзя. Все должно быть подчинено конкурсу. Жду и волнуюсь не меньше, чем Сева. Как будто не прослушивание — свершится всеобщее утверждение нас вместе и каждого поодиночке. Меня утвердят между прочим, никто этого не заметит, а я почувствую. И потом мы поедем ко мне домой. Просто так... Сева поиграет моим родителям Грига, они будут сначала смущаться, а потом полюбят...

Долго что-то нет Севы... И я снова начинаю играть первую часть Большой сонаты Шумана. Все вдруг получается! Завтра приезжает Леонид Яковлевич из Прибалтики, и я иду к нему на урок. В первый раз без стыда и страха! Я готова к уроку. Попробую сказать нечто свое...

Я не услышала, почувствовала Севу за спиной. Как это он так тихо вошел? Или я увлеклась...

— Господи, Сева, что с тобой?! Ты бледный такой...

Он стоял и смотрел сквозь меня.

— Что случилось? Сядь, успокойся.

— Леонид Яковлевич умер...

— Что... Ты с ума сошел! Он же еще не приехал...

— Приехал. Я их встречал... И встретил!.. Анна Вениаминовна сказала, что ему стало плохо с сердцем еще в дороге. Кое-как доехал, вышел сам... с чемоданом... И упал...

Сева закрыл лицо дрожащими руками, и я в первый раз увидела, как он плачет.

— Этого не может быть... У меня ведь завтра урок... я в первый раз все сделала...

Он затряс головой и проговорил глухо:

— Ничего больше не будет...

Я молчала, разучившись говорить, смотрела, как он плачет, сжимая свою лохматую голову, и вспомнила: «Сева, я согласен. Лохматая голова — это ваш стиль, но попробуйте мне в старости облысеть!..»

Неужели никогда больше никто не скажет мне: «Музыка — это тайна, но ради бога, детка, не становитесь криминалистом!..»

О, воскресни, консерваторский дух! Воскресни, трепет шагов по мраморной лестнице... Воскресни, мой корявый пианизм и благоговейный страх перед сединой Леонида Яковлевича...

Воскресни и не бросай меня одну, моя молодость, моя консерватория!..

17

«Художественный совет состоит... из профессоров консерватории... На художественный совет возлагаются обязанности... решать вопросы возведения в высшие звания лиц, преподающих в консерватории».

За день до прослушивания я все-таки пришла к Севе. Он сам попросил. Сначала послушать его в зале, а потом выпить дома чаю... Дверь открыла Нина Константиновна. Она кивнула мне и пошла на кухню.

— Сева, мне кажется, ты неточно рассчитываешь звучность в коде.— Я вдруг осмелела. В конце концов, ему важно мое мнение! Он сам говорил... А Нина Константиновна не может заменить меня, она всего лишь учительница пения в средней школе.— Ты слишком рано приходишь на форте... И левой педали во второй части многовато. Леонид Яковлевич прав... был...

Сева слушает меня с трогательной сосредоточенностью, поджав губы. Пробует играть по-моему... И Нина Константиновна не выдерживает, заглядывает в комнату:

— Будь добра, помоги мне на кухне!

Она даже не называет меня по имени! Я говорю Севе:

— Попробуй так.— И выхожу на кухню.

Нина Константиновна закрывает плотно дверь.

— Зачем ты трамви... трав... травмируешь его! Ему послезавтра играть, а ты треплешь нервы. Перестань!

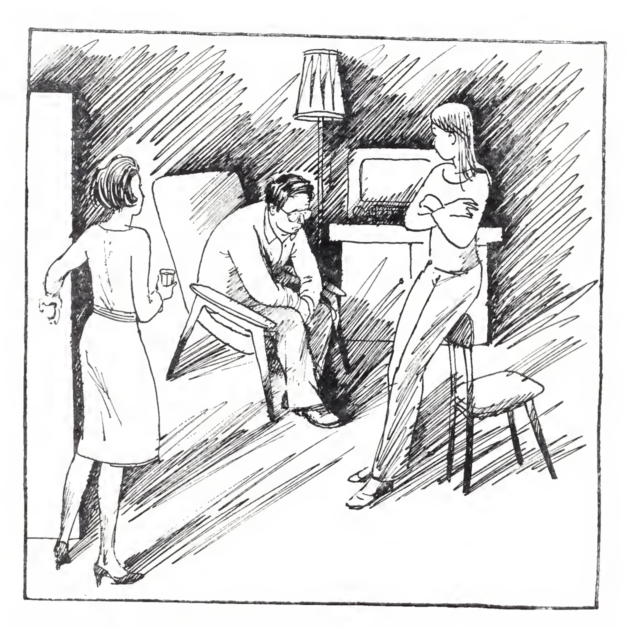
— Нина Константиновна, вы думаете, что лучше успокоить и сказать, что все превосходно, да? Между прочим, это примета плохая — хвалить перед выступлением...

— Какие еще приметы! Он же расстроен!

— А мне кажется, доволен...

Нина Константиновна бросила на сковородку кусок масла, оно зашипело и брызнуло мне на руки, и я снова ушла к Севе.

И вот, прослушивание... Я сижу в зале с колотящимся сердцем, остро чувствую, что сейчас происходит с Севой. Он ходит взад-вперед по артистической, бессмысленно смотрит на себя в зеркало, ложится на диван, вскакивает, пытается глубоко дышать, неумело закуривает, обжигая пеплом пальцы... Наконец выходит, и я бледнею... Какой ужас, у него все брюки заляпаны грязью! Как всегда, опаздывал, искал такси и вот явился в грязных брюках... Нина Константиновна сидит рядом со мной и сыто улыбается. Неужели она не видит?! Какое у него потерянное лицо... И кланяется неловко, торопливо. Я знаю всю его программу, знаю наперечет все опасные места, закрываю глаза у края двух-трех пропастей, и при неудаче не он, а я первая полечу вниз, обдирая на острых камнях платье и кожу... Сзади, в середине зала, за столами, накрытыми зеленым



сукном, уставленными пепельницами, бутылками с водой, сидит жюри. Только что отыграл Севин предшественник, Женя Ковалевский со второго курса. Женя прелесть: румяный, кудрявый, восемнадцатилетний, расстрелял всех стопроцентным попаданием в «Мефисто-вальсе»!..

Сева начинает, а я вдруг не могу слушать. Слышу только свое сердце, такое громкое, что впору встать и выйти, задевая чьи-то колени, прически... Но я остаюсь, и музыка вжимает меня в кресло.

Сева играет и еще долго будет играть, но мне уже все ясно. Майка, кажется, права: он слишком занят своими ощущениями. Он играет только себя... Ах, если б погас свет!..

Я закусываю нижнюю губу и отвожу от сцены покрасневшие глаза.

— Это подло, подло, что они зарезали! Я никогда так удачно не играл, понимаешь ты или нет?!. Если бы Леонид Яковлевич был, он бы не дал... Если бы он был жив!

— Сева, миленький, ну, успокойся! Это ведь не конец, еще что-нибудь будет, через два года Шопеновский конкурс...

— Ду-ура! Как ты не понимаешь!.. Этого щенка пропустили, потому что ему восемнадцать лет, а мне почти двадцать семь, мне все теперь поздно. Все, абсолютно все! Это был последний шанс!..

Дура... Это я?.. Ах так?! Тогда слушай: ты рохля, ты вышел в грязных брюках, не сумел даже поклониться как следует. Да за один такой поклон нельзя пропускать на международный конкурс! А еще и лохматая голова, и кое-где мазня... А Шуберта твоего вредно слушать — заразишься...

Я промолчала и сказала неожиданно твердо:

— Пусть дура, но я скажу все, что сегодня почувствовала... Ты слишком ушел от всего и всех, ты зарылся в себя. Ты прекрасный музыкант, все это знают, но тебе сегодня не было дела ни до кого.

Твоя музыка холодна, это какой-то разреженный воздух, где уже дышать трудно. Доброты тебе не хватило... Все было на месте, и не было доброты... А этот мальчик...

— Так ты... ты тоже?!. И ты... чтоб он прошел?

— Им был нужен только один человек... И, если честно, сегодня лучше, добрее играл Ковалевский...

— Не говори мне о нем, слышать не хочу! Как ты можешь!..— У Севы задрожали губы, и мне бы легче стало, если бы он ударил меня.— Ты... Они зарезали меня специально, заранее договорились зарезать, а ты...

— Кого они зарезали?! — заорала я, не обращая внимания на вошедшую со стаканом воды Нину Константиновну.— Музыку, душу твою?!

— Да, музыку!.. Да, душу!..— Сева схватил стакан и, захлебываясь, выпил. Повернулся ко мне спиной, но я обошла, чтобы посмотреть ему в лицо.— Да ты... ты просто предатель!

Нина Константиновна что-то мне говорила, оттаскивала Севу — мне было все равно.

— ...отдал конкурсу всю свою жизнь... детство... консерваторию... Ничего не оставил! Ничего?.. Ну, не может этого быть! Это ложь, слышишь! Фальшивая нота!..

— Замолчи! — с ненавистью закричала Нина Константиновна.— У Севы абсолютный слух!..

Она всхлипывала, но слез не было.

— Брось, мама! Она не знает, как мне сейчас плохо... Был бы пистолет...

И я дернулась от боли.

— Сева, я люблю тебя! Я не знаю, как тебя утешить, я только люблю... Но я все сделаю...

Не помню, как мы успокоились и сели пить чай все вместе: Сева, Нина Константиновна и я... Нина Константиновна, выпив три чашки, сказала мне, выделяя шипящие:

— Послушай, ты не хотела бы сделать стрижку и укладку? Уж очень неряшливо выглядят распущенные по плечам волосы, да еще рыжие...

— Мне не идет стрижка,— сказала я, вдруг не покраснев.

18

«Вакационное время по консерватории считается с 1 июня по 1 сентября».

Все каникулы читаю одно-единственное его письмо: «Здравствуй и прости, что пишу карандашом. На почте нет почему-то чернил. Живу в общем нормально. Еще идет заочная сессия, но Гринько уже отыграла, поставили 5 с минусом. Она все-таки молодец, умеет собираться. Дал ей Рахманинова, Второй концерт. Буду здесь до шестого июля. Мама уже уехала, зовет домой. Письма твои все получил. Молодец, что занимаешься, надо явиться на пятый курс во всеоружии. Кстати, недавно Гилельс играл по телевизору Четвертый концерт Бетховена. Слышала? По-моему, темп во второй части медленноват...»

И это все. Было, правда, в конце «целую тебя», но я так часто читала письмо, что поцелуй стерся и почти исчез.

И больше ни одного письма... Зато объявился вдруг Гарик: «Бабуся, как ты там? Я доволен. После Элисты рванем в Грозный. Не как-нибудь — все по столицам да по столицам! Пришли сейчас ребята, спрашивают, кому пишу. Сказал, невесте. Каково сказал, а?!»

Я сидела целыми днями дома, сначала просто сидела, а потом стала заниматься.

Когда уж все это кончится! Все мои друзья, подруги где-то на море, на реке, все блаженно лижут мороженое... А я... учу Большую сонату Чайковского.

Медленно и бездумно (думать жарко!) проигрываю первую часть. Потом еще раз... Начинаю вяло, потом разыгрываюсь немного.

И вдруг, плюнув на жару, на дремоту, на ежедневные слезы под подушкой, начинаю снова. И в темпе, в темпе! Мощно, гордо... Потом, когда пальцы уже не играют, плавают по клавишам, бросаю расстроенный «Красный Октябрь» и иду к проигрывателю слушать, как играет Большую сонату Рихтер, играет стремительно, сметая все вокруг...

А завтра все повторится... Сначала к почтовому ящику... Пусто!.. Снова беру стершееся письмо: «Здравствуй и прости...» Снова сажусь за пианино. Потом слушаю Рихтера и рассматриваю свои руки... На пятых пальцах мозоли, ногти коротко острижены, не ухожены. Завтра же сделаю маникюр!..

Но встану назавтра раздраженная: надо заниматься, вот сейчас сяду... сначала сбегаю посмотрю почту... посмотрю почту... и заниматься!

Пятый курс. Консерватория — твоя вотчина. Ты барственно прохаживаешься по ее коридорам, движением брови изгоняешь из тридцать второго класса въедливого первокурсника. Тебе оставляют новые ноты и журналы в библиотеке и бананы в консерваторском буфете. Тебе без обсуждения ставят пятерки по концертмейстерскому классу, тебе даже предлагают работать концертмейстером в вокальном классе, и ты, ничуть не смущаясь, раз в месяц приходишь к маленькому окошку за зарплатой... Да, да... И эти очки со сломанной дужкой, эти свободные одежды (чтоб удобней играть), эта истовость, эти сутулые спины, небрежно заколотые волосы, рассыпающиеся от первого крепкого аккорда,— ах, пятый курс, пятый курс!

— Почему вы не приходите ко мне за расписанием? — сказала вдруг Рита Александровская, уже старший преподаватель.

Я стою у доски объявлений, ищу Севино: «Всем ученикам класса Грачева В. Г. собраться...» Нет почему-то объявления!

И почему Рита со мной на «вы»? Мы же когда-то вместе в спектакле: «Я псих, разгладилось моих мозгов плиссе...»

— Вы же теперь у меня в классе.

— Как... Почему у вас?.. Я же у Севы... у Всеволода Геннадьича...

— Вы ничего не знаете? Он уехал на юг. Домой. Там открылся институт искусств, и он легко прошел конкурс.

— И он... ничего... мне... Ничего не передавал? Сказал... что-нибудь?

— Я не знаю... Так я вас жду. У меня остались четверг и воскресенье — выбирайте. Программа у вас есть?

— Да... есть... Сева... Всеволод Геннадьич дал.

Жестокий пятый курс! Я долго не сдавалась, ждала письма, просто привета — с юга кто-то приезжал,— ничего не было. Ни словечка!..

Я что-то делала, металась... Глотала элениум... И вдруг, открыв книгу на случайной странице, затихла:

«Имя покойного — господин Франц Шуберт.
Занятие — музыкант и композитор.
Положение — холост...
День смерти — 19 ноября 1828.
Вдовствующая супруга — (прочерк).

запно возвращает нам свежесть восприятия повседневности, которая, увы, зачастую стирается в обиходе.

Другой отличительной чертой нового поколения является творческое освоение художественного наследия. Желанием взглянуть на сегодняшний день сквозь призму вечных ценностей искусства, поднять факт до уровня значительного события проникнуты многие работы выставки. Молодые художники хорошо эрудированы в истории искусств, внимательно изучают произведения старых мастеров. Наибольший интерес вызывают у них народное искусство, живопись Возрождения.

Народное самодеятельное искусство всегда привлекало профессиональных живописцев своим праздничным, карнавальным мировосприятием, незамутненностью чувств и непосредственностью выражения. В работах народных мастеров, в лубке, старой резцовой гравюре действительность предстает в своих как бы «чистых сущностях», без полутонов: цвет без светотени, пространство без перспективных сокращений. Подобно народным мастерам, москвичка Н. Нестерова в картине «Молодежь на отдыхе» занята поисками извечных связей человека с миром и потому изображает природу очищенной от зыбкоменяющихся оттенков.

Современное искусство вырастает из художественной культуры, как дерево из напластований почвы, и в кольцах его ствола можно прочесть имена учителей, идеалы, направления, стили прошлых эпох. В живописи молодых порой весьма ощутимы «адреса» предшественников, цитаты из классики. И здесь необходимо различать искусство жизнеспособное, оперирующее средствами выражения, близкими к классическим, и мертвую музейную стилизацию, в которой самоценно стремление «сделать под кого-то» из старых мастеров. В лучших произведениях выставки — картинах Т. Назаренко, О. Булгаковой, Л. Кирилловой и других неоклассическая форма выражает содержание сегодняшнего дня, одухотворена биением пульса жизни.

Мучительно трудно рождается в искусстве новая форма... А ведь мир меняется с каждым днем и требует от художника созвучного ему воплощения. И даже когда возникает наконец художественное открытие, счастливая находка, их подстерегает опасность выродиться от многократного повторения в бездушный прием, штамп.

Вот один пример. В последние годы у ряда молодых живописцев и графиков наметилась тенденция к хроникальной достоверности образа, когда в живую ткань произведения — будь то картина маслом или эстамп — включается документ: фотография, печатный текст и т. д. Происхождение этой тенденции понятно: XX век — век массовой информации, придал небывалую до сих пор силу выразительности документу и особую ценность факту. Прием понравился (действительно, он обладает большим смысловым потенциалом) и стал кочевать из одной работы в другую. Так современность, острота, злободневность превратились... в расхожую моду, порождающую безликие произведения-близнецы. Оказывается, что и документ при всей его непредвзятой объективности должен быть лично пережит художником, чтобы стать органичным элементом в природе искусства.

Глубоко размышляя о жизни, молодые поняли, что невозможно воссоздать сложность процессов современности передачей явления «в лоб», иллюстративно. И поэтому большинство авторов обращается к ассоциативно-метафорическому образному мышлению, ищет форму передачи самого движения мысли. Картины киргизского живописца Д. Джумбаева, латыша Ю. Звирбулиса, одессита Л. Дульфана и других всегда означают больше, чем в них изображено, ибо они обладают подтекстом, подобным мощному хору, в котором воедино сливаются голоса чувства, разума, памяти, реальность и вымысел.

Есть в их работах некая недосказанность, как в любой метафоре, и это дает простор для воображения зрителя, вызывает его, как умного собеседника, на диалог.

Подобное художественное мышление — еще одна примета того нового, своеобразного, что несет поколение «семидесятников» в советское изобразительное искусство.

В пестром калейдоскопе, которым может представиться на первый взгляд выставка «Молодость страны», есть единство, цельность задач, стоящих сегодня перед молодыми художниками. Это — умение слышать свою эпоху, откликаться на ее нужды, быть «у времени в плену».

Всегда трудно судить творчество своих современников — еще не отстоялись питавшие его события, и все же следует помнить, что на наших глазах входит в советское искусство поколение мастеров, которым предстоит сказать свое слово о мире, о жизни, о себе.

●



Максим ЗЕМНОВ

Здравствуй, дорогая мама!



(Письма из армии)



Максиму Земнову двадцать лет. Недавно он вернулся из армии. Дома Максим перечитал письма, которые присылал матери. Самые, на его взгляд, интересные он отобрал и принес нам в редакцию. Максим не приукрашивает армейские будни. Он откровенно пишет о трудностях, собственных неудачах и ошибках. Его письма будут интересны тем, кто отслужил в армии, и особенно тем, у кого служба впереди. Начинал все письма Максим одинаково: «Здравствуй, дорогая мама!»

15 ноября 1974.

Пишу, как и обещал, все по порядку.

День провели в военкомате. Нас водили по бесконечным коридорам, пересчитывали, как цыплят, и обязательно кого-то не хватало. Проходили медкомиссию, мелькали кабинеты: окулист («Закройте правый глаз, левый»), флюорография («Вдохните. Не дышите»), хирург («На что жалуетесь?»), терапевт («Чем болели в детстве?»). От неизвестности одни мрачнеют, другие, наоборот, болтают без умолку: «Хорошо бы в морфлот! Служить, правда, больше, зато форма — блеск!.. А если в стройбат?»

По вокзалу шли подобием строя Нас, как тесто, развезло в разные стороны. Сержанты, наши командиры, метались из конца в конец. На нас обращали внимание: одних смешили короткие волосы. других — что мы одеты по «гражданке», а идем строем. Солдаты никого бы не удивили, а вот мы еще не солдаты и уже не обычные парни — да. Объявили, что едем в часть, где будем проходить курс молодого бойца. Я удивился: «А что, есть еще и старые бойцы?»

В вагоне хохочут, смеются, поют. Вырастают на столиках горы вареных кур, пирожков, бутербродов — как все это осилить?

18 ноября 1974.

Приехали в часть. Чем занимались? Мыли машины, убирали территорию, ходили строевым, а в остальное время учили уставы. Во время построения никак не вспомню отличие шеренги от колонны, а на размышление — доли секунды. С тугодумством пора кончать! Пошли на склад получать форму. Завскладом смеется: «Они там что, сговорились? Навыпускали мальчишек 48-го размера! Держись, держись, мужики, стерпится-слюбится».

Когда надеваешь форму, ты словно исчезаешь, а появляется Он. Ты его первый раз видишь и удивляешься встрече.

Потом нас построили: «Кто умеет водить машину — к первому столу!» «Кто умеет рисовать?..» «Кто умеет печатать?..» «Кто умеет?..» — и так до бесконечности. Толпа заколебалась. Какой-то парень, как сумасшедший, метался от одного стола к другому. «Чудо 20-го века, которое все умеет»,— язвили сзади. Утром объявили, что я попал в мотострелковую (по-старинному, пехотную) учебную часть, где готовят сержантов. Представляешь, как здорово!

Пока шли до полка, натерли ноги. А сержант: «Подтянулись сзади, взяли ногу!» Казалось бы, что может быть проще — носить сапоги, а вот поди ж ты... Наконец, пришли. Было поздно. «Отбой!..» Дома спать неинтересно, зато в армии сон — подарок. И никто почему-то не говорит: «Мне не спится».

6 декабря 1974

...Через некоторое время стану младшим сержантом (сержантов здесь называют еще «младший командный состав»).

Так что служить мне будет нелегко. Ответственности больше. Чем занимаемся? Тактика (что делать в бою), уставы, политподготовка, защита от оружия массового поражения, вождение (в жизни не водил машин!), физо, строевая (тебе еще не скучно?), огневая, топография, инженерная (рытье окопов, траншей)... Ведь солдаты потом скажут: «Ты — сержант, тебя учили, показывай!..»

2 февраля 1975.

Скоро примем присягу. Говорят, тогда и начнется настоящая служба. А пока никуда не ходим, даже в караул. Ребята отовсюду: из Молдавии, Казахстана, Грузии, двое из Москвы. Отбой в 22.00, подъем в 6.00. Есть библиотека, два раза в неделю показывают кино. Ребята собрались неплохие, хотя судить об этом рановато. Погода подводит: мрачно, сыро, холодно.

Учеба в части напряженная. Вождение, кроссы, занятия. Как не хочется падать в новеньком, только что отглаженном «хзбз» на землю! Но на занятиях по тактике есть такая команда: «К бою!» — и все тут.

Завтра баня, в среду через неделю очередная «армейская» зарплата («денежное довольствие», как ее здесь называют). Вчера разгружали вагон с углем. Для двадцати человек это ерунда.

Ночью стреляли из пулемета. Один раз получилось на «хорошо», второй на «отлично», а на третий раз угодил в «молоко». Распорядок дня: зарядка, завтрак и на занятия. Замечания получаем за то, что медленно строимся, плохо заправляем койки. А так все в норме. Скоро исполняется три месяца службы. Солидный срок!

Хочешь послушать, как нас учат? «Рядовой А., перебежать к дороге!» «Отделение, в атаку, вперед!» «Отделение, короткими перебежками, вперед!» Тактикой занимаемся больше всего. Обычный человек просто ползет или просто бежит, а сержант на тактике показывает нам другое: упадет, перевернется — и в ложбину — ищи-свищи! Вот и выходит, что «тактика» — дело хитрое.

...Стал совсем по-другому относиться к военному ремеслу. Нравится оно или нет — это дело другое, но то, что это серьезная мужская профессия,— несомненно.

Живем в комнатах отделениями. Называют наше жилище казармой. Вообще, в армии много своих особенных слов. Так к ним привыкаешь, что, кажется, без них и не обойтись. Когда первый раз выбрался в город, зашел в канцелярский магазин. Продавщица спрашивает: «Вам зеленую тетрадь?» Я: «Так точно, зеленую».

Трудно привыкнуть к тому, что все приходится делать по раз и навсегда заведенному порядку: складывать одежду, вешать шинели, заправлять кровать. Кстати, я до сих пор не научился ее заправлять. На днях при обходе взводный, ничего не сказав, начал показывать, как это делается. Я стоял красный, как рак. Теперь заправляю койку довольно сносно и, как ни странно, испытываю от этого удовлетворение. Так и во всем. Ходили строевой. Как это раньше раздражало! «Выше ногу! Тверже шаг!..» В конце концов незаметно для себя я вошел во вкус и полюбил строевую. Когда шагает полк и бьет большой барабан — это удивительное зрелище!

Часто ходим в наряд на кухню. Ребята, которые сейчас там, напоминают мне людей в окопах. На них идут в атаку колонны бачков с недоеденной кашей и щами. В четырех водах — в самых горячих, в соде, в горчице — кувыркаются кружки, ложки, миски, бачки. Если фельдшер увидит хоть один плохо вымытый бачок, обязательно скажет: «Перемыть!»

17 апреля 1975.

Мы еще вроде и не солдаты, а мальчишки в гимнастерках, точнее, «зеленые». Дисциплина, приказы — это понятно, но как до дела — все во мне встает на дыбы. Каждый день — борьба с собой, победа или поражение. Надо бежать, а не можешь — вымотался. Кажется, все отдал, но вдруг где-то, в глубине, наскребешь крохи, и этой силы хватает. Обычные, незаметные радости: вышло солнце, повалялся на траве, получил письмо.

Оценки здесь ставят, как в школе: три, четыре, пять. Наш командир отделения старше меня всего на год. Такой же мальчишка, как все мы. Но боится показаться перед нами не взрослым, не начальником, и потому все время ходит как мне кажется, надувшись. Правда, иногда и сам не выдерживает — смеется.

Конец дня. Вечерняя поверка. Все стоят по стойке «смирно». «Курсант Антошин, курсант Антюхин, курсант...» Потом отбой.

Если честно, я ленив. Кросс всегда бегу в серединке, успокаиваю себя: «Ведь не последний, есть кто-то и сзади». Привыкли, что я «ни то, ни се», а когда я как-то прибежал вторым, все удивились.

Тревога. Мы несемся за шинелями, вещмешками, в комнату для хранения оружия. Коридор длинный — разогнался, кого-то сбил, не извиняюсь (не до этого), все потом. Схватил автомат (стало спокойнее), потом два магазина, подсумок, лопату, штык-нож, противогаз. Пробиваюсь на улицу. Вдруг вспомнил — дырявая башка! — а каска? Говорю командиру: «Забыл каску». А он смеется — привык к тревогам, сумасшедшим глазам... «Ах, забыл — не иначе как сражение проиграем». Почему-то покрываюсь капельками пота, крупными и солеными. Наши, наверно, уже построились. Бегу в казарму, хватаю каску, возвращаюсь. Уф-ф-ф!

У нас отличный взводный. Любит нас той грубоватой мужской любовью, без сюсюканья и глаженья по головке, которую не сразу и поймешь. Наши ребята — те, кто раньше никогда не носили сапог, понатерли ноги. «Ничего, ребятишки,— подбадривает взводный,— скоро ноги у вас будут крепче, чем у носорогов». Поверили...

6 мая 1975.

...Из учебной части привезу тоненькие конспекты и наставление курсантам. А вот как «всамделишно» командовать сверстниками? Не могу поверить, что совсем скоро стану командиром. Смешно.

Есть у нас один парень, Тантуев. Его все уважают и слегка побаиваются. В нем какая-то скрытая сила А у меня в голове вечно: «Так ли я делаю, а может, и нет?» Смогу ли я командовать? На миллиметр в чем-то сдашь, и конец... Ты пишешь, что лучше бы я вообще не был командиром отделения: «Зачем отвечать за всех? Не лучше ли за себя одного?» А мне это важно, очень важно. Представь... В школе задали выучить наизусть стих. Учил, учил, а на уроке почему-то не спросили. Обидно... Учили, учили меня на сержанта, и, что же зря?..

Дни бегут страшно быстро. Вот и конец учебы. Укладываемся, упаковываемся. Скоро едем, а куда — никто не знает. Все ходят веселые. Осталось сдать экзамены по тактике. Потом пришивание лычек, праздничный концерт — и к новому месту службы. С нового места напишу.

2 июля 1975.

Хожу в караул разводящим. Обязанности простые: развел часовых и свободен. Часовой отстоял на посту два часа, потом два часа бодрствования и два часа сна. Кажется: подумаешь, два часа постоять! Но ночью они тянутся ой как долго! Что-то послышалось, померещилось Что делать? Стрелять? Тут. по себе знаю, все уставы летят из головы, как бы крепко их ни заучил. Ведешь смену на посты. Ребята хмурые, невыспавшиеся. Молчат. А вернутся с постов — смеются, болтают без умолку, довольны. Я не мешаю — пусть! Сам знаю, как хочется выговориться после двух часов на посту.

С ребятами из соседних рот, с которыми вижусь редко, отношения у меня прекрасные, а со своими не получается. Отношения сложные, вероятно, из-за моего характера. Я большой самокопатель и бука. Вроде и учебка позади, а чертовски все-таки сложно себя переделать!

Нелегко схожусь с людьми. А вот с Федей Кацубо мы подружились. Занятный парень! Часами выводит в тетради: «а, а, а...» — исправляет почерк. Ребята умирают со смеху: «Тише, идет урок чистописания!», а ему хоть бы что. За день намотаешься, только и мечтаешь, как бы добраться до кровати, а Федя поднимает ноги вверх-вниз, качает пресс. Смотрю на него как на диво Теперь я знаю, чего мне явно не хватает—организованности, целеустремленности, требовательности и такта

Наш замкомвзвода Родионов порядок навел ой-ой. Старослужащие одеваются за 30 секунд, ходят с подтянутыми ремешками, застегнутыми крючками. На вечерней поверке не шевельнутся. Сержантов учит: «Голос командира должен быть слышен с подъема до отбоя». Начинаю и я покрикивать, делать грозный вид, а ребята чувствуют: все это напускное, от неуверенности. Меня это злит Потребовал, чтобы называли на «Вы».

3 октября 1975.

Мое отделение заняло последнее место. Нет, не отделение, это я занял последнее место. Неужели взводный ошибался, когда говорил: «Сделаю из вас сержантов». Да, он-то все сделал, только вот я сержантом так и не стал. Почему? Голова раскалывается от этих «Почему?». Да, несобранный, неволевой, разбросанный, хоть записывай в военный билет: «Командовать людьми не пригоден».

И все-таки я тянул, ждал чего-то. Манны небесной? В отделении по-прежнему стоял в первой шеренге, отвечал за отсутствующих на вечерней поверке: «Госпиталь. Отпуск. Командировка». Возможно, другой человек честно признался бы: «Ну и ладно. Найду что-нибудь другое, не всем же командовать»,— и попросил бы снять его с должности. А я — опять от нерешительности? — молчал. Надеялся. А вдруг?.. Смешно. Приехал из отпуска взводный, и все решилось в один день.

21 ноября 1975.

Понимаю, что доставил тебе массу переживаний. И все-таки не хочу, чтобы в письмах исчезла искренность и откровенность.

«Уверена, что ты выглядишь браво»,— написала одна из моих знакомых девчонок.

Я-то в этом как раз не уверен, но стараюсь не вешать носа. У меня сейчас новая жизнь. Хожу на посты. Отстоять на посту при любой погоде четыре смены по два часа, конечно, не легко. Помню на «гражданке» ждешь автобуса минут двадцать, и то бесишься. А тут откуда-то выдержка и спокойствие появились — может, от того, что почувствовал ответственность? За время, пока хожу на посты, особенно начал ценить такие простые вещи, как сон, тепло, отдых.

Хочу ответить на твой вопрос: «Чем моя жизнь отличается от вашей «домашней»? Смотри... Дома я говорил себе: «Встанешь в шесть, сделаешь зарядку, выучишь уроки». И что же? Просыпался в восемь, зарядку не делал, а вместо уроков шел в кино. В армии распорядок дня, как заведенные часы.

Заведенный порядок, строгий армейский режим помогают мне бороться с «гражданской» расхлябанностью, и, кажется, скоро я сумею окончательно ее победить.

Сейчас я совсем по-другому смотрю на свое отстранение от должности командира. Уже не душит обида, и не потому, что время — лекарь, а просто пришло понимание железной логики армейской жизни. Авторитет складывается из многих качеств — здесь и знание, и жесткая самодисциплина, и уважительное отношение к подчиненным, и, конечно же, требовательность. Без панибратства и заигрывания.

За последнее время у меня появилось много друзей.

Я хочу рассказать тебе об этих ребятах.

Когда что-то не ладится, все идут к Сане Калмыкову. Он улыбнется, выслушает, поможет. Как это важно! Кажется, у Сани никогда не бывает плохого настроения. Будто огромными буквами на нем написано: «Прием граждан круглосуточно». Саня Калмыков работал в Казахстане трактористом. В работу вгрызается, как бур в землю. Работая с ним рядом, нужно выкладываться целиком, не жалея себя.

Посередине реки застряла коряга: ее сносит течением, но она занозистая — уцепилась и держится. Такое сравнение приходит в голову, когда я смотрю на Васю Щербаченя. В армию его сначала не брали (что-то с ногами). Тогда Вася обегал все военкоматы. Его просили: «Поезжай домой, мы тебя комиссуем», а он: «Нет». Если Вася дежурный по столовой, все у него сверкает, блестит.

Валентину Петровичу КАТАЕВУ — 80 лет

Дорогой Валентин Петрович!

Нам приятно, что не только эти, адресованные Вам приветственные слова, но и сама страница, на которой они напечатаны, весь наш журнал, его обложка и название имеют непосредственное отношение к Вашему восьмидесятилетию. Ведь «Юность» — Ваше детище. И в далеком теперь 1955 году Вы как будущий главный редактор нового молодежного журнала обдумывали и решали, каков будет этот журнал — как будет называться, сколько в нем будет страниц, какие рубрики...

И вот прошло более двадцати лет... Вам — 80, журналу — 21, но арифметические законы тут не действуют... Да и лексические в этом случае тоже нарушены, потому что «Катаев» и «Юность» мы считаем словами-синонимами. Точности Вашего пера, свежести Вашей литературной формы, зоркости и ясности Вашего писательского глаза может позавидовать каждый из нынешних авторов «Юности». В этом смысле Вы, хоть и не значитесь сейчас в нашем штатном расписании, всегда присутствуете в стенах «Юности», являясь эталоном мастерства и оптимизма!

На Ваших книгах воспитывалось не одно поколение советской молодежи. Воспитываются и нынешние читатели «Юности». Вы всегда вместе с молодым читателем — в этом, очевидно, секрет и Вашей собственной молодости. Вас читали юноши и девушки тридцатых, читает молодежь семидесятых, будут читать молодые люди всех последующих лет.

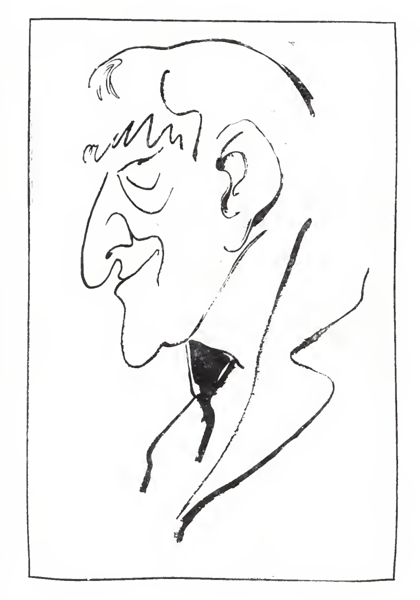
Не только книги и журналы выходили в свет в результате Вашей большой творческой жизни, но и писатели. Целая плеяда молодых авторов вошла в литературу через ворота «Юности», смело открытые Вашей рукой. Большинство из них оправдало надежды, которые Вы на них возлагали, и ныне они сами стоят на порогах своих первых солидных юбилеев, на которых, конечно же, вновь прозвучат слова благодарности Вам — их наставнику.

Дорогой Валентин Петрович!

Редакция «Юности», ее авторы и миллионы читателей шлют Вам свои самые сердечные поздравления, желают Вам здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых произведений!

Пусть еще многие и многие годы Вы будете так же молоды в творчестве, как молоды сегодня.

Ваша «Юность».



Дружеский шарж И. Оффенгендена.

Из писем великих начинающих писателей

Письма эти написаны учеником Лермонтовым, студентом Тургеневым, молодым офицером Толстым, сотрудником провинциальной газеты Пешковым и другими молодыми людьми, когда они еще не знали, что станут Лермонтовым, Тургеневым, Толстым, Горьким и другими великими писателями, которых будут изучать школьники и целые институты, которым поставят памятники и письма которых (в том числе и юношеские) напечатают в полных собраниях сочинений... Да и сочинений у них в то время было не так уж много. Так же, как у авторов этого номера «Юности». Только, упаси бог, не подумайте, что мы хотим сравнивать наших авторов с авторами этих писем! Это рано, неуместно и в конце концов непедагогично. Просто этой публикацией мы хотим сказать, что все, кто пробовал свои силы в литературе, рано или поздно садились за первое письмо в редакцию, все были в положении начинающих — в этом положении все равны, а что из кого получится... Заглянем лучше в письма великих начинающих писателей.





Михаил ЛЕРМОНТОВ (14 лет) — М. А. Шан-Гирей[1]

Москва, 20—21 декабря 1828 г.

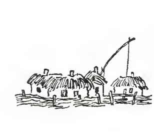
«...Я продолжал подавать сочинения мои Дубенскому[2], а «Геркулеса и Прометея»[3] взял Инспектор, который хочет издавать журнал, «Каллиопу» (подражая мне! (?)), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется: Павлов[4] мне подражает, перенимает у ...меня! — стало быть... стало быть... но выводите заключения, какие Вам угодно».

[1] М А. Шаи-Гирей — двоюродная тетка М. Ю. Лермонтова.
[2] Дубенсний Д. Н — преподаватель Московского университетского паисиона.
[3] «Геркулес и Прометей» — это произведсние Лермонтова до нас не дошло.
[4] Павлов М. Г.— иислектор Московского университетского паисиоиа.

Николай ГОГОЛЬ (21 год) — матери

1830 год, С.-Петербург, февраль, 2.

«Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку для г. журналистов и потому Вы не сердитесь, моя великодушная, если я Вас часто беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии, или что-либо подобное. Это составляет мой хлеб. Я и теперь попрошу Вас собрать несколько таковых сведений, если где-либо услышите забавный анекдот между мужиками в нашем селе, или в другом каком, или между помещиками. Сделайте милость, вписуйте для меня также нравы, обычаи, поверья... Не пренебрегайте ничем, все имеет для меня цену. В столице нельзя пропасть с голоду имеющему хотя скудный от бога талант».





Иван ТУРГЕНЕВ (18 лет) — А. В. НИКИТЕНКО[1]

26 марта 1837 г., Петербург.

«Милостивый государь Александр Васильевич,

Препровождая Вам мои первые, слабые опыты на поприще русской поэзии, я прошу Вас не думать, чтоб я имел малейшее желание их печатать — и если я прошу у Вас совета — то это единственно для того, чтобы узнать мнение Ваше о моих произведениях, мнение, которое я ценю очень высоко... С год тому назад я её[2] давал П А. Плетневу[3] — он мне повторил то, что я давно уж думал, что все преувеличенно, неверно, незрело... и если есть что-нибудь порядочное — то разве некоторые частности — очень немногочисленные. Считаю долгом заметить, что (Вы, конечно, это тотчас заметите) размер стихов очень неправилен».



[1] Нинитенко А. В.— профессор Петербургского университета, историк литературы, критин
[2] Драматичесная поэма «Стено», иаписаиа в 1834 г., впервые опубликована в 1913 г.
[3] Плетнев П. А.— поэт и критик, издатель «Современиика».

Николай НЕКРАСОВ (20 лет) — Ф. А. КОНИ [1]

25 ноября 1841 г., Ярославль

«...Сколько мог я понять — в постоянные сотрудники я Вам не гожусь. . В исчислении достоинств Вашего будущего сотрудника Вы намекаете мне, что во мне недостает аккуратности, деятельности, постоянной любви к труду и мало ли еще чего, даже и таланта, как, кажется, намекают некоторые слова письма. Согласен со всем. Но спрашиваю, найдете ли Вы человека, который бы имел все такие качества...

...Есть у меня готовая повесть «Антон», но она слишком велика — листов пять печатных... разве в будущем году годится. Написал драму в 4-х актах, да, кажется, неудачно... Водевиль в 3-х актах [2] давно начал, да все еще не соберусь кончить... Потеряв надежду на постоянную работу, я тороплюсь наготовить разных произведений, которые можно бы продать поштучно для выручки денег для содержания своей особы... Вчерась только я прочел в «Пчеле» брань своему «Актеру» [3]. Мерзавец Межевич опять кругом наврал и может быть уличен».



[1] Кони Ф. А.— редактор «Литературной газеты».
[2] О каких произведениях идет речь, неизвестно.
[3] Имеется в виду театральный обзор В. Межевича.

✪

Лев ТОЛСТОЙ (24 года) — Т. А. ЕРГОЛЬСКОЙ [1]

30 мая 1852 г., г. Пятигорск.

«...Мои литературные работы также подвигаются понемногу, хотя я еще не думаю ничего печатать. Я три раза переделал работу [2], которую начал уже давно, и я рассчитываю еще раз переделать ее, чтобы быть довольным. Быть может, это будет работой Пенелопы, но это не отталкивает меня; я пишу не из тщеславия, но по влечению; мне приятно и полезно работать, и я работаю. Хотя я не веселюсь, как я Вам писал, но и не скучаю, потому что я занят; но, кроме того, я вкушаю еще более высокое, более сильное удовольствие, чем то, которое могло бы мне дать общество — это сознание спокойной совести, сознание высшей оценки самого себя, сознание движения во мне добрых великодушных чувств».



[1] Т. А. Ергольская — троюродная тетка и воспитательница Л. Н. Толстого.
[2] Имеется в виду рукопись повести «Детство», первой повести Толстого.

20 октября 1852 г., Старогладовская.

«...Нет худа без добра: когда я не здоров, я более усидчиво занимаюсь писанием другого романа, который я начал. Тот, который я отослал в Петербург, напечатав в сентябрьской книжке «Современника» 1852 г. под названием «Детство», я подписал его Л. Н., и никто, кроме Николеньки, не знает, кто автор. И я не хотел бы, чтобы это знали».

✪

Заметка в «почтовом ящике» юмористического журнала «Стрекоза» № 2, 1880 г. по поводу присланного по почте рассказа А. П. Чехова «Письмо к ученому соседу», ставшего первым опубликованным произведением будущего великого писателя:

«Москва. Драчевка. г. А. Че-ву.

Совсем недурно. Присланное поместим. Благословляем и на дальнейшее подвижничество».

По этому же поводу письмо Антону Чехову (20 лет) от редактора «Стрекозы» И. Василевского:

«Милостивый государь!

Редакция имеет честь известить Вас, что присланный Вами рассказ написан недурно и будет помещен в журнале...»

✪

Алексей ПЕШКОВ (26 лет) — Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ [1]

Ноябрь — декабрь 1894 г., Н. Новгород.

«Уважаемый Николай Константинович!

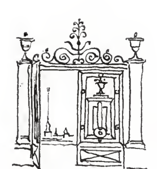
Примите мое сердечное спасибо за Ваши указания и советы. Не умея самообольщаться, я совершенно не ожидал, что Вы отнесетесь к моему наброску [2] так внимательно. Горячее спасибо, Николай Константинович! Ваше письмо так подняло мое самочувствие!

— Я — как Вы советуете это,— попрошу Владимира Галактионовича [3] помочь мне. Мне думается, что поправки, вносимые Вами в мой набросок, сделать очень легко, и что они не особенно изменят его.

С почтением к Вам — *Алексей Пешков».*



[1] Н. К. Михайловский — редактор журнала «Русское богатство».
[2] Набросок — рассказ «Челкаш».
[3] В. Г. Короленко.



Александр БЛОК (23 года) — В. Я. БРЮСОВУ

1 февраля 1903 г., Петербург.

«Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Посылаю Вам стихи о Прекрасной Даме. Заглавие ко всему отделу моих стихов в «Северных цветах» [1] ***я бы хотел поместить такое: «О вечно-женственном».***

В сущности, это и есть тема всех стихов, так что не меняет дела и то, что я не знаю точно, какие именно Вы выбрали, тем более, что, вероятно, у Вас были в руках некоторые стихи, посланные мной Соловьевым. Имею к Вам покорнейшую просьбу поставить в моей подписи мое имя полностью: АЛЕКСАНДР Блок, потому что мой отец, варшавский профессор, подписывался на диссертациях А. Блок или Ал. Блок [2]***, и ему нежелательно, чтобы нас с ним смешивали.***

Преданный Вам и готовый к услугам
Александр Блок».

---

[1] «Северные цветы» — альманах издательства «Скорпион».
[2] Соловьевы — семья В. С. Соловьева, поэта и философа.

✪

Сергей ЕСЕНИН (17 лет) — Г. А. ПАНФИЛОВУ [1]

Июнь 1912 г., Константиново.

«...Дай мне, пожалуйста, адрес от какой-либо газеты и посоветуй, куда посылать стихи. Я уже их списал. Некоторые уничтожил, некоторые переправил. Так, например, в стихотворении «Душою юного поэта» последнюю строфу заменил так:

Ты на молитву мне ответь,
В которой я тебя прощу,
Я буду песни тебе петь,
Тебя в стихах провозглашу.

«Наступление Весны» [2] ***уничтожил.***

Друг, посоветуй, куда. Я моментально отошлю».

---

[1] Панфилов Г. А.— друг Есенина.
[2] «Наступление Весны» — это стихотворение Есенина не найдено.

✪

Николай ОСТРОВСКИЙ (26 лет) — П. Н. НОВИКОВУ [1]

11 сентября 1930 г., Сочи.

«Петя! У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь мою содержанием, необходимым для оправдания самой жизни.

Я о нем сейчас писать не буду, поскольку это проект. Скажу пока кратко: это касается меня, литературы, издательства «Молодая гвардия» [2]***.***

План этот очень труден и сложен. Если удастся реализовать, тогда поговорим. Вообще же непланированного у меня ничего нет. В своей дороге я не петляю, не делаю зигзагов. Я знаю свои этапы, и потому мне нечего лихорадить. Я органически, злобно ненавижу людей, которые под беспощадными ударами жизни начинают выть и кидаться в истерике по углам».

---

[1] Новиков П. Н. — друг Островского.
[2] Первое упоминание о романе «Как закалялась сталь»

Николай ОСТРОВСКИЙ (27 лет) — П. Н. НОВИКОВУ и Р. Б. ЛЯХОВИЧ [1]

4 июля 1931 г., Москва.

«...Вообще же я сгораю. Чувствую, как тают силы... Одна воля неизменно четка и незыблема. Иначе стал бы психом или хуже. За последние 20 дней не написано ничего. Прорыв. Я только думаю: «А каково же качество продукции может быть от работы в нечеловеческих условиях?»

Почему вы о качестве ни слова? Жду вашего слова. Жду.

«Как закалялась сталь» — это только факты. Все факты. Хочу показать рабочую молодежь в борьбе и стройке. Критикуйте, говорите о качестве. Почему ни слова?»

---

[1] Ляхович Р. Б.— друг Островского.

Подборку подготовила
Ольга ЧЕРНЫХ

ЮНОСТЬ

Лауреаты конкурса «Зеленого листка»

Жюри конкурса «Зеленого листка», в состав которого входят члены редколлегии журнала «Юность» под председательством главного редактора журнала Б. Н. Полевого, рассмотрело опубликованные в 1976 году произведения молодых авторов в области прозы, поэзии, публицистики, живописи и присудило:

первую премию (500 руб.) — Алексею МАРЧУКУ за документальную повесть «Приснился мне город...» в № 1,

вторую премию (250 руб.) — Борису АГЕЕВУ за повесть «Текущая вода» в № 9;

еще одну вторую премию поделили:

Юрий ИВАЩЕНКО за очерк «Десант как десант» в № 3,

Наталья ТОДОРОВА за очерк «Одна среди мальчишек» в № 1;

три третьих премии (по 200 руб.) присуждены:

Маргарите КИРИЛЛОВОЙ (стихи в № 1),

Ирине КИЯШКО (стихи в № 11) и художнику Олегу КОКИНУ за обложку журнала «Юность» № 1.

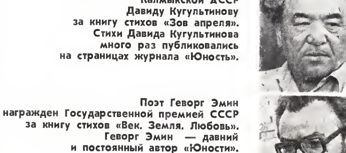
Лауреаты «Зеленого листка» награждаются Почетными дипломами и памятным значком.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ!

Заслуженный деятель искусств Литовской ССР художник Стасис Красаускас удостоен Государственной премии СССР 1976 года за цикл «Вечно живые». Произведения Красаускаса публиковались на страницах нашего журнала. Он — автор эмблемы «Юности».



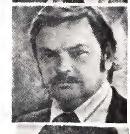
Государственная премия СССР присуждена народному поэту Калмыкской АССР Давиду Кугультинову за книгу стихов «Зов апреля». Стихи Давида Кугультинова много раз публиковались на страницах журнала «Юность».



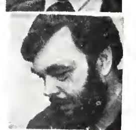
Поэт Геворг Эмин награжден Государственной премией СССР за книгу стихов «Век. Земля. Любовь». Геворг Эмин — давний и постоянный автор «Юности».



Писателю Альберту Лиханову присуждена премия Ленинского комсомола 1976 года за книги для детей: «Музыка», «Семейные обстоятельства», «Мой генерал». Две повести, вошедшие в эти сборники, были опубликованы в «Юности»: «Крутые горы» — № 6 за 1971 год, «Обман»—№№ 8—10 за 1973 год.



Лауреату Государственной премии РСФСР, члену-корреспонденту Академии художеств СССР, скульптору Олегу Комову присвоено почетное звание народного художника РСФСР. О. Комов — давний автор нашего журнала.



На всесоюзной выставке молодых художников «Молодость страны» почетных наград среди других удостоены авторы нашего журнала, дебютировавшие на стендах «Юности».

Дипломом первой степени отмечены работы Андрея Ахальцева, Владимира Владыкина, Николая Благоволина и Александра Ситникова.

Поощрительная премия и диплом вручены Марине Файдыш и Фарходу Халилову.

Редакция «Юности» сердечно поздравляет своих дорогих авторов и желает им новых творческих успехов.

«ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО — БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»

Если бы Надя Рушева оставила после себя не тысячи рисунков, а одни лишь письма к друзьям, то и тогда заслужила бы она права на наше внимание и признательность. Скромные листки из тетрадей Нади и ее друзей—прежде всего—разговор подростков, только-только вступающих в жизнь. В этом качестве письма их — явление своего рода единственное. Не случайно письма Нади взяты в ленинградский Пушкинский Дом, где недавно создан ее фонд.

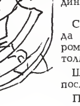
Нигде так не раскрывается душа человека, как в его письмах, заметил Ираклий Андроников в повести о тагильской находке, документах семьи Карамзиных, освещающих трагедию Пушкина. Вдумчивый читатель без особого труда уловит в Надиных строчках основные, окрепшие, четко отличимые черты ее характера: целеустремленность, жажду духовного обогащения, тягу к высотам культуры, неодолимое желание увидеть прекрасное и самой утвердить его в окружающем нас мире; отсюда — воинствующее отрицание всяческого мещанства, всего пошлого, грубого, мелкого и показного.

Одноклассница Нади Нина Коратченко недавно написала: «Только сейчас я поняла, как она отличалась от всех нас, насколько стояла выше нас по своему духовному развитию, как много хотела для нас сделать, чтобы расширить наш кругозор, привить любовь к искусству».

С Аликом и Ольгой, ставшей ее самой задушевной подругой, Надю сблизила совместная работа в пресс-центре Артека. Все трое оформляли стенные газеты, листовки, панно, плакаты, антивоенные шествия, вели интернациональную работу. Надю избрали президентом КЮДИ—Клуба юных друзей искусства. После слета Рушеву удостоили высшей чести—сфотографировали у Всесоюзного пионерского знамени.

О том, как потекли школьные дни после слета, поведает возникшая переписка Алика с Надей; она публикуется с согласия Олега (Алика) Сафаралиева и матери Нади, Н. Д. Ажикмаа-Рушевой.

Письма Нади Рушевой



1 ноября 1967 года.

Здравствуй, Алик!

Спасибо за письмо!

У нас холодина, и я заболела. Слава богу, не ходила два дня в школу. Ужасно устала. Последняя степень озверения.

Недавно ездила в центр, смотрела какое-то кино в «Мире», а оттуда пешком до «Детского мира» и до Кремля. Москву украшают к празднику. Много строят. Здорово! А на Красной площади что творится!!! Чудо! Потом пошла к гостинице «Россия», там рядом отреставрировали четыре церкви. Они сейчас как новенькие.

Я тебе как-то говорила о «Войне и мире». Сейчас продолжаю эту серию и собираюсь поехать на Бородинское поле.

Смотрела в театре им. Маяковского «Медею». Когда она истошно кричала, выбегали два мима с огромной ревущей маской. Из актеров понравилась только героиня.

Шестого числа у нас будет классный вечер. Тогда после напишу. Не думаю, что будет интересно.

Пиши длинные письма.



Надя Рушева.

Высказывания Нади об искусстве соответствуют ее возрасту и темпераменту. Чаще всего они весьма категоричны: «Я — за Быкова! И точка!» Да и наивно было бы ожидать во всех случаях от школьников профессиональных суждений, обстоятельных критериев, развернутых оценок. Все более—от чувства, от непосредственного эмоционального восприятия...

Своеобразие переписки «переходного возраста» в том, что она являет собой колоритную картину со множеством оттенков. Инфантильное соседствует с мудрым (хотя бы в цитатах), мимолетное—с отстоявшимся, поверхностное—с глубинным и с высоким. Перед нами пора прощания с детством, вполне осознанная, годы познавания и осмысления жизни, становления чувств и убеждений. Читаешь Надин рассказ о пьесе, которую замыслили создать об артековцах,—и открывается человек, умеющий широко мыслить, ярко чувствовать. Показательна уверенность девушки, что пьеса об артековцах будет написана, и так, чтобы взрослые не говорили: «...но они еще дети».

В ту пору Наде не исполнилось еще и 16-ти. Сегодня ей было бы двадцать пять...

Для Надиных писем характерно обилие рисунков. Трудно точно сосчитать, сколько их. Тут и великолепные жанровые сценки, и наброски, многофигурные композиции, как бы перетекающие одна в другую, и цепочки заставок, и гроздья типажных портретов. В основном они дополняют слово, но иногда рисунок возникает и безотносительно к тексту.

У Олега Сафаралиева хранятся отдельные вкладыши-импровизации. Некоторые просто превосходны, они полны и сильного лирического чувства и философских обобщений.

Давно подмечено, что пластические фантазии Рушевой есть продолжение ее мыслей. Недаром она рисовала «по воображению». Любая, самая добросовестная и удачная попытка описать оригинал не способна, как известно, заменить зрительного восприятия: «Лучше один раз увидеть...»

Если бы Рушева не проявила себя художником, она, думается, могла бы стать незаурядным литератором, фантастом или юмористом. Раскован, сочен и меток ее язык. У нее свой стиль, много коротких, звонких, словно бы стреляющих строк. Слова—незбитые, шустрые, подчас озорные.

Алик получил более тридцати Надиных писем и открыток. И лишь дважды Надя позволила себе написать о личных творческих успехах. В одном из писем мельком сообщила о двух персональных выставках, открытых одновременно в Москве и Ленинграде.

Не раз они заметят друг другу, что устали от уроков и нагрузок. А затем как откровение: «Все-таки в школе хорошо. В школе мне хочется каникул, а на каникулах хочется в школу».

Это—от Алика.

А Надя о ребятах, лишенных широких интересов, высказалась почти афористично:

«Если хочешь, чтобы они немного потлели, гори дотла сам... Это страшно трудно, но нужно. Нельзя—только о себе. Ведь правда?»

Неоднократно и настойчиво Надя просит своего товарища прислать ей ответ на шутливую анкету дочери Маркса Женни. Она придавала ей большое значение, считая за некий инструмент, способный определить суть человеческой личности, характера, вкусов и наклонностей.

И по всем этим разрозненным строчкам прослеживается непростой путь становления в самих подростках чувств подлинной гражданственной ответственности, желания стать людьми, достойными своего времени, своей Родины. Одно из стихотворений Алика начинается строфой:

Это очень нужно,
Это очень трудно,
Это очень важно —
Быть человеком!

Надя восприняла высказанную мысль, дополнив ее своим:

«Нельзя—только для себя!»

Виктор КИСЕЛЕВ

P. S. Тебе нравится князь Андрей?

Напиши свое мнение о романе и фильме. Какой тебе кажется Наташа? Пьер? Получил ли ты письмо с «Бегущей по волнам»?

1 ноября (предположительно).

Мой друг Алик!

Получила второе письмо, а поэтому к первому ответу прибавляю второй.

Александр Грин... Фильм... Я — за Быкова. И точка!

А музыка чудесна.

Статью эту не читала, но знаю про другую, где Гарвей — Станислав Любшин. Там все разъясняется: почему такой фильм — с отступлениями.

Теперь о других рассказах Грина. «Позорный столб» и «Сто верст по реке» оканчиваются одним предложением: «Они жили долго и умерли в один день». Тебе нравится такой конец? Мне — да.

Я теперь завела тетрадочку, куда записываю стихи, песни, о фильмах, книгах, особенно понравившихся.

О дне рождения Пабло Пикассо не знала. Я его не очень-то люблю. А ты?

Была два раза на его выставке... Нравятся только ранние вещи, голубые и розовые.

По литературе, наконец, доконали «Отцов и детей». Как тебе нравится Базаров?..

Читала Писарева «Реалисты» — хвалит его. А в статье «Пушкин и Белинский» разделал «Е. О.»[1] под орех. Над всеми насмехался, особенно над Татьяной. Я читала и смеялась. Это так отличается от того, что вдалбливали нам в школе, да и что мы сами думали!..

С 5-го каникулы. Как ты их проведешь? Пиши, Алик! Твои письма меня радуют, и если когда-нибудь наша переписка прекратится, будет очень и очень...

Длинные письма, конечно, трудновато писать. И ошибок больше. Но разве это главное?!

До свидания.

7 декабря 1967 года.

Алик!

Прости, что давно не пишу. Школа заела. Написала письмо, но не отправила, не понравилось. Не так. Вот письма Ольги!..

Встретилась с Марком Антоновичем[2]. Чудесно! Он пишет пьесу про нас. Свободное время трачу на рисунки, книги, выставки и лыжи. Но этого времени мало.

---

[1] «Е. О.» — «Евгения Онегина».

[2] Марк Кушниров, артековский пионервожатый.

Смотрела «1812». Пьер потерялся. Наполеон — футбольный герой.

До свидания.

Надя Рушева.

18 декабря 1967 года.

Здравствуй, Алик!

16.XII по телеку была передача «Артек-67». Видела Вовку-Психа, Мишку-Зверь-Человека, Недобитого, Ритку, московских, соседнего вожатого, Катьку и себя. Здорово!

Да... золотое было время... «Я помню чудное мгновенье!»

Тут у нас много чего происходит смешного и грустного. Но зачем об этом писать? Чепуха!

Прочитала «Сердца трех» Джека Лондона. Есть интересные места, но в целом, особенно конец, неважно. Что-то надоели эти резвящиеся богатеи, разбойники и красотки.

Ты что не пишешь? Обиделся или времени нет? Скорее всего надоело. Ведь так? А? Так и напиши. «Точка и ша!»

До свидания.

Надя Рушева.

11 января 1968 года.

Здравствуй, мой друг Алик! Вот и приехала из Ленинграда. Чудо-город! Где мы только не были! Измучились, но довольны. А как твои каникулы? Как отметки? У меня без троек. Досмотрела, наконец, нашу «Войну и мир». Ууууууууууу... Читаю сейчас только Л. Толстого и Евтушенко «Братская ГЭС» (Читал?). Кстати, я достала слова двух песен из «Вертикали» и «Чудо-юдо». Если хочешь, пришлю. Спасибо за поздравление.

Да, напиши, каким был для тебя 1967 год? Обязательно. И заполни и пришли известную анкету дочери Маркса «Познай самого себя». Очень прошу. Пиши!

Надя Рушева.

12 января 1968 года.

Хороший ты мой друг Алик!

Господи, какой черт угораздил тебя падать со второго этажа? Представляю. Помнишь, как тебя чуть с солярия не скинули? Такая же высота. Если ты сломал ногу, то проваляешься месяца два, если не больше. Но как головой ты шмякнулся, представить не могу. В каком же тогда положении ты летел?

Одним словом, желаю быстрейшего выздоровления, и пр. и пр.

+20! Да ты с ума сошел! Это же благодать! Господи, что бы я дала, чтобы было потеплее, хотя бы —15°. Если бы ты был здесь, наверно, уже умер от холода.

Значит, от вас до Баку 129 км, карты врут (географические). По ним около 300 км. Следственно, до Ольги не 2 530 км...

Ты от города до города за 2 часа добираешься. А я целых два часа до Дворца пионеров еду (Ленинские горы)...

По дороге в Ленинград интересный случай был. В поезде «Юность» мы пели часа четыре. Света не было, ну и чудесно! Какой-то тип подсвистывал нам из темноты. Причем здорово. Он посвистит какую-нибудь песню, а мы подхватим и споем. Чего только не было: сначала туристские, потом танцевальные, просто так, потом народные, потом пионерские, до опер и романсов дошли... А он все свистит и свистит. Мы так и не узнали, кто это был.

А в Ленинграде, в Эрмитаже, ходим и ахаем. Божественно красиво...

На Мойке, 12, экскурсовод была чудесная! Так рассказывала, прямо от души, а у самой слезы на глазах. Да...

Я видела одну интересную книжечку какого-то японского поэта. Одно из пятистиший, кажется, такое:

> Я сижу один
> На пустынном острове.
> И, не обтирая влажный глаз,
> Играю с маленьким крабом.

Или еще:

> Я уже больше не мог.
> Но когда я вышел,
> Во дворе тихо заржала лошадь.

Можно сделать чудесные рисунки к ним. Темы неисчерпаемы. Ну, как? Если ты знаешь такую книжечку, очень прошу, перепиши для меня несколько стихотворений.

Теперь о пьесе Марка. Она о нашем пресс-центре «Артек-67». Естественно, это будет другой лагерь и другие ребята, но прототипы мы. Еще... Для пьесы нужен конфликт, а у нас все было гладко. Ведь так? Запомни, в пресс-центре, а не в отряде.

Но какого характера конфликт? Творческий разлад? Зависть? Или мальчик? Я себе ничего не могу представить. Невозможно... Ведь так все было хорошо!

Творческий разлад... глупистика. Мы — как один человек. Зависть... А чему завидовать? Что у кого-то ресницы длиннее или у другого рисунки или статьи лучше? Чепуха!

Мальчик... Такого можно было бы ввести, но это уже совсем тра-та-та. Это я говорю на основании разговора с Мариком и прочих умозаключений.

Пьеса о нас, 15-летних ребятах. О 30 днях, о дружбе, разной; крепкой, обреченной, а от этого еще более сильной. И о легкой, красивой, но быстро забывающейся. 30 дней, всего 30 дней. А нам 15 лет...

Люди мало думают, никакой ответственности, никто не накажет. А настоящая дружба, серьезная, наша... Марк напишет так, чтобы взрослые не говорили: «...но они еще дети».

Теперь о тебе. В последний вечер у моря я, кажется, сглупила. Ты не сердишься? И не смеешься?..

Порой такого наговорят, что начинаешь сомневаться в искренности того, что было. Правда ли все это? Не было ли это время прожито в обмане?

Приходят ли к тебе такие мысли? Или все это бред сивой лошадки? Не сочти это за что-нибудь такое, но мальчишки тут или не доросли или... а черт их знает? Глупенькие какие-то, чудаки.

Так напиши обо всем и о прошлом 1967 г. Бывают годы хорошие и плохие. А этот был тяжелым. И тем сильнее сияют дни Артека, и тем более мрачными кажутся остальные.

Пиши скорее!

Надя Рушева.

Еще раз желаю скорейшего выздоровления и жду фотокарточку.

2 февраля 1968 года.

Алик!

Слушай, можешь ты написать стихи к какому-нибудь моему рисунку? Я пришлю.

Кем ты будешь? Ведь уже пора выбирать. Напиши

обязательно. Я — или во ВГИК (на мульти) или в Полиграфический (книжная графика).

По литературе проходим Достоевского. «Преступление и наказание». Теория Раскольникова очень интересна... Как ты думаешь?

Готовимся к КВН-у на тему: «Школьник XXI века». Продерем себя и учителей.

Двоек нахватала... (по точным).

Что-то не получается серьезного и длинного письма...

Пока!

Надя Рушева.

17 февраля 1968 года.

Здравствуй, Алик!

Что-то нет от тебя писем...

Прочла книгу Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Вот чудо! Если не читал, обязательно прочти. Журнал «Иностранная литература» № 6, 1967 г.

Посылаю тебе фотографии о русской зиме. Сейчас погода славная, солнце, сухой снег,— 10°. Катаюсь на лыжах с «Бараньего лба» (это такая горка). Здорово!

Начали проходить Л. Толстого. .

Мне починили проигрыватель: сижу, слушаю пластиночки. Сейчас, например, Радмила Караклаич поет «Падает снег» (на русском и итальянском). Потом будут «Ростовские звоны» (знаешь?!), а потом что-то английское, кажется, Поль Джонс. Вот он поет, мелодия чудесная.

С нашими мальчишками из КВН я поругалась. Хамы. У нас в классе сплошной разлад. Целую неделю журнал был неизвестно где. Кстати, сейчас играется «Хали-гали» с «оттяжечкой». Все вспоминаю, как нас учили всем этим танцам! А потом конкурсы. Более 20 хоппелей-поппелей. Ужас! Еще бы раз так!

А сейчас надрывается «Экспо...»

Солнце уже садится (5 ч.). Днем было так ярко, что пришлось ходить в черных очках.

А теперь мой любимый хоппель-поппель! Пианист — дьявол. Ну, что еще написать... Надо переменить пластинку.

«Но пройдет день и год
И настанет час...»

Напиши мне большое-пребольшое письмо обо всем, что ты думаешь в данную минуту, т. е. когда ты получаешь мое письмо.

Жду.

Надя Рушева.

29 февраля 1968 года.

Здравствуй, Алик!

Еще раз отвечаю на некоторые твои вопросы.

1. Тяжелый год. Я никого не заставляю думать так же.
2. Если ты ВСЕ помнишь, ну и отлично!
3. Ты сам на мои вопросы не всегда отвечаешь (например, анкета).
4. Не дуйся!
5. Я теперь на все смотрю по-другому. Все, что было тогда,— это прощание с детством, и никогда ничего подобного не будет.
6. Хватит сентиментальничать!

В понедельник на классный час кто-то приволок пластинку Высоцкого. Ух, что было! Все так и млели, а потом крутили «битлов», они поют «Где-то есть город...». Чудо!



Свалилась с горы «Бараний лоб», сломала лыжи, а лицо такое, как будто на нем «кошек твисту обучали»! Свет померк... Но ничего, вылезла, а летела здорово! Бреющий полет! Специально потом съездила и сфотографировала место, где треснулась (см. фото).

В классе у нас скандал. Окончательно разругалась с КВН-ными мальчишками.

Знаешь, Алька, собираюсь все написать серьезное письмо, да все отвлекают, а там, глядишь, и мысли разбегутся. Главное, пиши чаще и не обязательно серьезно.

Рисунки в следующий раз, а то у меня сейчас веселое настроение. 24 февраля у нас был вечер. Ничего, потанцевали, побесились и посплетничали. 8 марта опять будет вечер. Здорово! Я танцую то, чему нас учили в Артеке.

Начали «Войну и мир». Вчера писала сочинение на тему «Подвиг капитана Тушина на Шенграбенском поле и князя Андрея при Аустерлице». Тушин — милый, а князя Андрея я не люблю, особенно после фильма. Желчный аристократ, вредный, жестокий до тупости.

Ты, конечно, видел рисунки Шмаринова к «Войне и миру». Напиши свое мнение. Мне они очень нравятся.

Если не слушал 1-й номер «Кругозора», много потерял. Я его проигрываю каждый день. Мирей Матье, Гердт, Джоан Баэз, Мина, «Аккорд». У-лю-лю! Пра-па-па.

Пиши. Жду.

Надя Рушева.



4 марта 1968 года.

Привет, Алик!

Первый месяц весны. Солнышко! Скоро (месяца через 1,5—2) снег сойдет. Целый месяц не вылезала из берлоги. Уроки!

Ты когда-нибудь перечитывал мои письма? Если да, то интересный вывод сделать можно. Как и на твоих письмах. Есть некоторые повторения, и нужные и ненужные. Какие-то смешные детали. И о погоде. В последнее время письма, естественно, поинтересней. Есть веселые и грустные, тяжелых нет.

Ты, видимо, еще действительно в детстве. А мое понятие уж какое есть — не отступлюсь. Все происходит не без нашего ведома, ведь в своей шкуре живем-то!

С тобой ничего подобного, видимо, не происходило. Потом узнаешь. Тоска пойдет зеленая. Но легче, если есть друзья. Напиши, с кем ты там дружишь (вспоминается известная пословица: «С.м.к.т.д. и я с.т.к.т.»).

В классе у нас сейчас очень сложно. Трудно. Но расшевелить их все-таки удалось. Не буду пока об этом писать, да и тебе неинтересно.

Насчет «великой» художницы... Ну что ты. Куда там. Ах, Алька, Алька! Смешной ты, славный мальчишка! Пришли, ради бога, свою фотокарточку. Вот странное дело, людей, которых я близко знаю, не могу нарисовать, а Ольгу и подавно.

Пиши. Жду.

Надя Рушева.

14 марта 1968 года.

Здравствуй, Алик!

У нас в классе в начале четверти провели викторину по Некрасову. Как сказал Марк: «Танцевали на костях классика». Нас просто заставили в нем (КВН) участвовать. Все вышло кисло и дрянно. И вот совесть взыграла. Начали кричать: «Да мы, да мы... все могем! Дай только волю и тему».

Решили без учителей провести СВОЙ КВН. Продрать хотели школьную систему. Сколотили команду, нашли тему, все вроде есть... Так потом много чего насочиняли, разучили, раскрасили, приколотили, повесили. И тут же из-за мальчишек все завалилось. В общем, они виноваты. Все, полный разброд. Но мы не могли это так оставить. Припомнили все дела, заваленные таким способом, и устроили разнос. Они даже не сопротивлялись.

Потом я принесла свои рисунки. И Ленка[1] (Я + Ленка = МЫ) сказала классу: «Я понимаю, что вы голодные (после 7 уроков), но не хлебом единым жив человек». И т. д. Оставили всех, кто был. Для ребят и для кл. руководителя это было, как гром с неба.

Но ничего, загорелись. Опять захотела в КЮДИ, и т. д. и т. п.

Если хочешь, чтобы они немного потлели, гори дотла сам. Вот мы и начали гореть. Иначе они совершенно обрастут шерстью. А ведь казалось бы — плевать. Нет, надо продолжать. Это страшно трудно, но нужно. Нельзя — только себе... Ведь правда? А?!

До свидания.

Надя Рушева.

11 мая 1968 года.

Здравствуй, Алик!

Получила твое письмо. С анкетой... И на том спасибо. Ладно.

На то письмо я ответила, только не помню, отправила или нет. Отвечаю на анкету. Тоже весьма туманно.

1. Достоинства, которые вы больше всего цените в людях? ДОБРОТА, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ.
2. В мужчине? —»—
3. В женщине? Скромность. —»—
4. Отличительная черта? ЛЕГКОВЕРИЕ.
5. Представление о счастье? ДРУЖБА.
6. О несчастье? ОДИНОЧЕСТВО (т. е. нет друга).
7. Антипатия? МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ И НЕСКОЛЬКО МАЛЬЧИШЕК.
8. Любимое занятие? РЫТЬСЯ В КНИГАХ, РИСОВАТЬ, БОЛТАТЬ С ДРУЗЬЯМИ.
9. Любимый поэт? МАЯКОВСКИЙ, ЕВТУШЕНКО, ПУШКИН.
10. Прозаик? Л. ТОЛСТОЙ.
11. Герой? ПЬЕР БЕЗУХОВ, МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ.
12. Героиня? НАТАША РОСТОВА.
13. Цвет? КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ.
14. Имя? АЛЕКСАНДР, НАТАША, ОЛЬГА.
15. Блюдо? МОРОЖЕНОЕ.
16. Изречение? ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ, вроде: «БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫЛОВИШЬ И РЫБКУ ИЗ ПРУДА», и т. д.
17. Девиз? ПОКА ЧТО: «ВПЕРЕД, ЛОМАЯ И УГАДЫВАЯ». Е. ЕВТУШЕНКО.

Жизнь протекает без приключений. Писать не о чем.

Пока!

Надя Рушева.



[1] Лена Григорьева, подруга Нади.



10 июня 1968 года.

Здравствуй, Алик!

Прости, что пишу с таким «жутким» опозданием. Просто на прошлой неделе Я БЫЛА В ЛЕНИНГРАДЕ!

!!!!

Перечислю только, где была: Эрмитаж, Русский музей, Мойка, 12, Петергоф, Летний сад, Михайловский замок, Смольный, концерт (ансамбль «Дружба», Эдита Пьеха!).

В Выборгском Дворце открылась моя выставка. Основная тема — Пушкин, так как организатор — музей Пушкина.

Одновременно в Москве — выставка в музее Л. Толстого — «ВОЙНА И МИР».

Алик... Если не читал М. Булгакова «Мастер и Маргарита»,

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИ!

Надя Рушева.

10 сентября 1968 года.

Привет, Алик!

Поздравляю с началом учебного года! Последнего (слава богу) года в школе. Думаю, ты того же мнения. Напиши все, что думаешь о «М и М». Обязательно. Рада за твои путешествия по «столицам закавказских республик». Рисовать неохота. Прочти Дж. Селинджера «Над пропастью во ржи». Твое письмо хорошее. Пришли стихи. Пока.

Надя Рушева.

После 23 октября 1968 года.

Здравствуй, Алик!

В школе почти все, как обычно...

Вообще этот месяц, октябрь, был какой-то тягомотный и немного бредовый. Марка давно не видала. То он не мог, то я. Рисовать было некогда, одна отрада — читала («Моби Дик» Г. Мелвилла, Джек Лондон, Горький...). Почти никто не писал. Никуда не ходила.

Вчера началась зима. Сегодня уже на лыжах катаются. Что-то, как подумаю, что зима будет несколько месяцев, тоскливо так становится. А меньше двух месяцев назад было лето! Такого лета больше никогда не будет.

Год високосный... У нас умерло много родственников и знакомых.

5.XI. 1 ноября я была на вернисаже Н. Жукова. Там познакомилась с А. И. Гессеном... Возможно, буду делать иллюстрации к его новой книге. Если все выйдет, то эта работа будет иметь огромное значение для меня. Подробности не пишу, т. к. боюсь сглазить. Работа эта не скорая, к апрелю следующего года. Пока! Жду, что напишешь ты.

Н. Рушева.

14 декабря 1968 года.

Привет, старик!

Не писала, потому что была страшная запарка. И в школе и с выставкой. В ЦДРИ 3 декабря был 98 номер (устный журнал) «Жизнь и творчество». Там одна страничка про меня. И выставка из пяти тем: «Мастер и Маргарита», «Школа», «Маленький принц», «Воспоминания о Варшаве», «Пушкин».

Недавно ездила в Бахрушинский музей. Там выступал арт. Ю. Ларионов (читал «М и М»). По-моему, эта вещь не для сцены.

Вчера у нас в школе провели викторину по Маяковскому, Блоку и Есенину. Наш класс засудили, и мы оказались на третьем месте. Я читала «Поэтов» А. Блока.

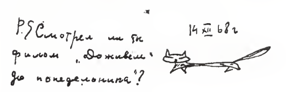
Жалко — после игры не разрешили танцы. Но зато нашему классу поручили новогодний вечер. Вот отпляшемся!

На фотографии ты — не ты. Ужас какой-то!

Напиши поподробней, что у вас там за «битгруппа»...

Скорей бы кончался этот год! Все ждут.

Еще о фотографии. Когда я на нее посмотрела, то первое впечатление... ну, не знаю, в общем, ты не такой стал. Я сравниваю с Артеком-67. Вот так... Теперь очередь за тобой.



26 декабря 1968 года.

С новым годом, Алик! С Новым годом! Большого тебе счастья в 69-м!

Ну, вот и кончается этот високосный год. Последние дни тянутся ужасно долго. Скорей бы! О делах как-нибудь поподробнее напишу в каникулы, а сейчас просто надо вовремя поздравить с таким милым праздником. Счастливо! Напиши стихи.

Надя Рушева.



Виктор Герасимов







Виктор Герасимов — уроженец г. Никополя, Днепропетровской области. Он музыкант по образованию. Работал директором музыкальной школы в поселке Щорсе на Днепропетровщине, служил в армии. Сейчас В. Герасимов живет в Киеве, работает на телевидении.

✪

Напишите письма матерям,
А потом — летайте и пляшите,
Только прежде строки разошлите
По поселкам и по деревням.

Обратитесь к рекам и ветрам,—
Им быстрей достичь родного края,—
Где-то ждет-пождет душа родная,
Письма сыновей должны быть там.

Пригород

Трамвай уходит на Святошино,
В январских сумерках звеня,
По колее незапорошенной
Увозит зиму от меня.

Прощаюсь срочно,— елки-саночки,—
Конверт бросаю голубой.
Через разъезды, полустаночки
Летит трамвай тревожный мой.

Последний рейс — и черен рельс,
И словно вальс — сквозь лед и завертень
Кружит трамвай весенним заревом,
Трамвай, в который мне не сесть.

Баллада

Вербой поросший, в синей пороше стынет причал.
Помню, как в детстве старый сосед мне лодку давал.
Тихо плескался доброю вестью плес поутру.
И поднималась старая песня вверх по Днепру.

Что напевал я, «Карие очи» иль «Огонек»!
За перевалом стал многоточьем отчий порог.
От переправы и до причала — сколько, не счесть —
Слева и справа верба звучала, словно оркестр.

Лодку причалю у партизанской белой косы.
Плавни печали, знаю, вам снятся долгие сны.
Тихие вальсы, дикие ветры в дебрях звучат,
Где поднимался в бой на рассвете малый отряд.

Тропы, окопы, гильзы пустые, доты и рвы,
Строгим молчаньем многое сыну скажете вы.
В сумраке сером, в бронзе закатов берег-гранит
Память отца, рядового солдата, свято хранит.

Вербой поросший, в синей пороше стынет причал.
Голос вдруг ожил, близкий до дрожи, и замолчал.
Новые песни! Только все чаще, ночью и днем,
К берегу детства я возвращаюсь с думой о нем.

✪

Куском фанеры заслонясь от града,
Бегу по скользкой тропке босиком.
Мне весело, мне ничего не надо —
Я радуюсь всему, с чем незнаком.

Под мокрой опускающейся веткой
Вода поет, стекая и гудя.
И солнце пляшет золотой монеткой
В водовороте плеса и дождя.

✪

По этим улицам с Миколой
До поздних сумерек бродить —
Среди каштанов темнокорых
И лип, застенчивых на вид.

Ловить слова на перекрестках,
Забытые давным-давно,
Гулянье шумное подростков
Смотреть, как лучшее кино,

И думать: эти дети тоже
Узнают и мороз и зной...
И нам с тобой не до прохожих,
Скорее — до весны самой.

До первой зелени апреля,
До фресок солнца-маляра,
Где рифм качаются качели
От Бессарабки до Днепра...



ПРОЗА